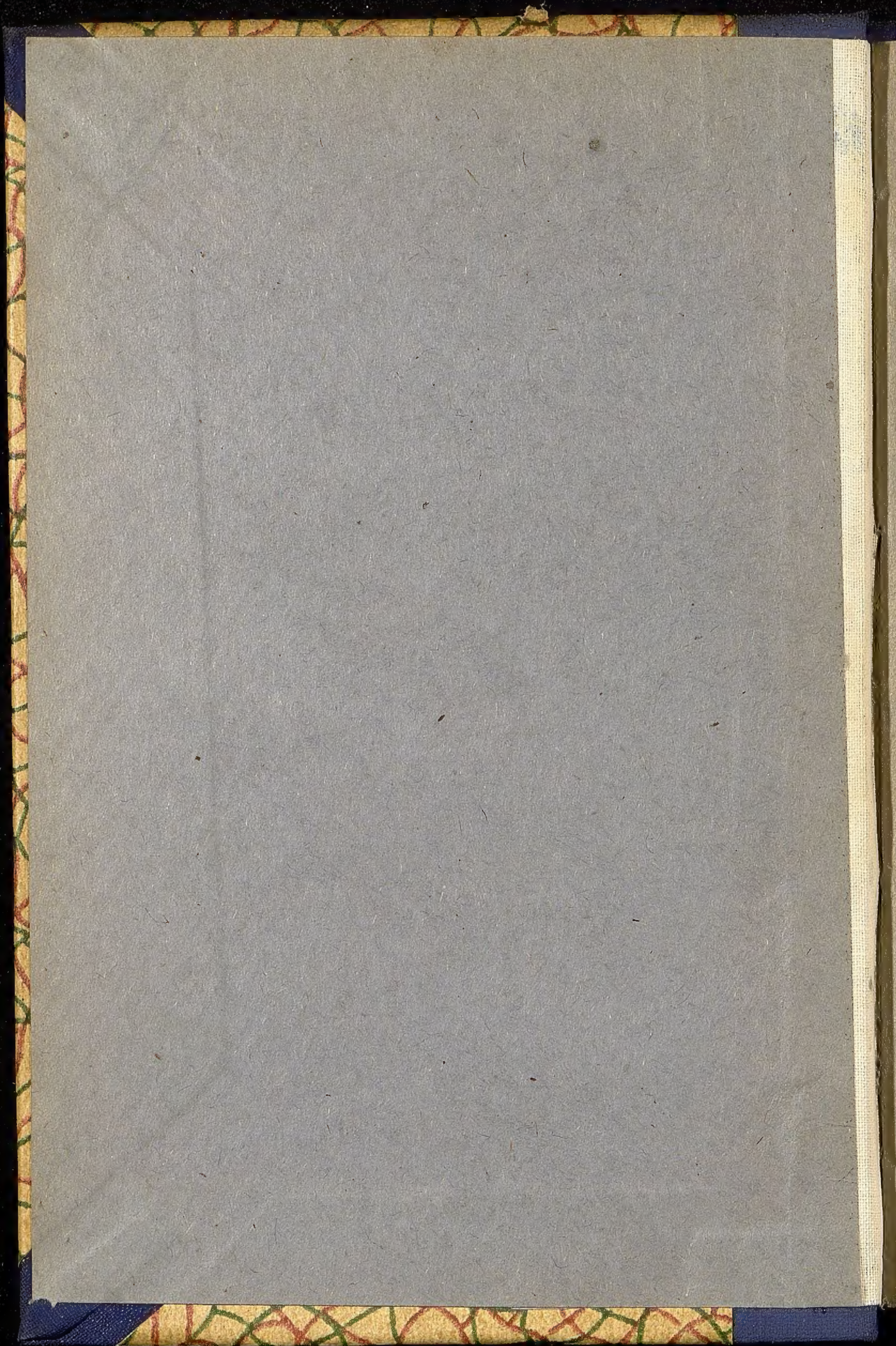
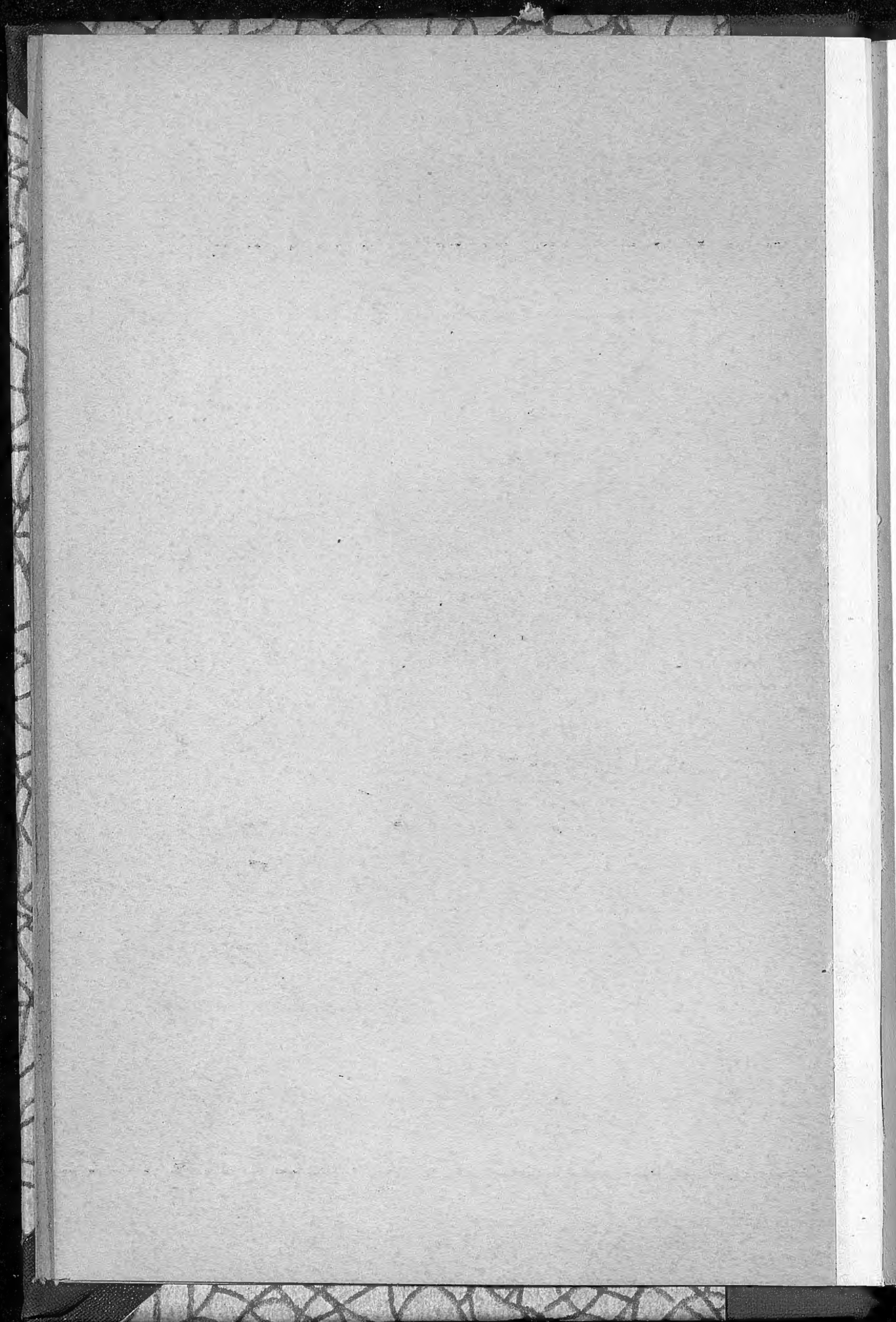


ЗА КРЕСТАМИ



М. ГРОМОВ

ЗИФ





ЧИТАТЕЛЬ!

Просим сообщить Ваш отзыв об этой книге, по адресу: Москва, Центр, Ильинка, 15, Информационный Отдел „З И Ф"

М. ГРОМОВ

ЗА КРЕСТАМИ

ПОВЕСТЬ

ВТОРОЕ ДОПОЛНЕННОЕ ИЗДАНИЕ

«ЗЕМЛЯ и ФАБРИКА»
МОСКВА — ЛЕНИНГРАД

ОБЛОЖКА ХУДОЖНИКА Г. Р.

Отпечатано в типографии Госиздата
„Красный Пролетарий", Москва,
Пименовская улица, дом 16,
в колич. 5.000 экз., 11 л.
Главлит № А—24958
MCMXXIX

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Из-за леса медленно поднимается огненным полукругом заря, опираясь на еловые макушки. А мы уже в поле со стариком отцом косим купленную у соседнего помещика траву. По-змеиному шипят и злятся звонкие косы:

Цсс-ык! Цсс-ык!

Цветистыми пахучими рядами ложится срезанная под корешок сочная трава... Отец кряхтит, расставив широко короткие ноги в стоптанных сапогах.

— Что-то уж больно можжат руки—дождь, верно, будет.

Он приложил жилистую в волосах руку к вспотевшему широкому лбу и взглянул кверху, отбросив от кумачной рубашки козлиную бороду.

— Нескоро еще кончать-то: лениво уж больно подымается солнышко. Чего-то, Мишка, наша старая стряпуха нам сегодня наваляет... Эти лепешки с картошкой надоели, как горькая редька. Блинцов бы сделала, да побелей пустила, чай, рабочая пора. Будь бы не было, а то привез из города белой полпуда, недели три как. Есть еще, а скупится, старая ведьма; гляди, до Покрова растянет.

Я устал помахивать аршинной косой и почти не слушал слов старика.

Он тоже обессилел; вертел папироску за папироской, покуривал, пуская сизыми струйками едкий махорочный дым в свежий ароматный воздух.

— Коси, коси сынок, один ты у меня, и одна надежа на тебя. Работа тяжелая, а нанять-то нам, ты сам знаешь, не под силу: гривен пять за росу-то заплатить надо, да напой, накорми его—и это чего-нибудь да стоит... А в неделе-то без воскресенья шесть деньков. Кишка у нас слаба: ведь трешкой пахнет... Нет, коси, коси, Мишка, коси, сынок, эти денежки нам пригодятся на сахарок, да мучки пшеничной еще подкупим пудишка, и будет наша старуха всю рабочую пору блины оржаные попекать да пшеничной помаленьку прибавлять. На нашу-то семью пуда-то надолго хватит.

Покосив немного, он опять останавливается, смотрит на солнышко, точит и без того острую косу и снова начинает, глядя на меня:

— Вот, вот так, сынок, так ее—под корешок вали. У тебя кости еще не изломаны, ты молодой, в силе, в поре, не так устаешь, как вот я. Сушки сегодня немного—всего воза три будет. Придешь домой, чаю напьешься, отдохнешь, выспишься. А не будешь стараться—не хватит сена. Зимой кошельком косить, сынок, еще тяжелее. А постараемся, накосим. Травы, бог дал, нонче уродилось—нельзя обижаться. Пустим лишнюю скотинку, продадим весной, а к Пасхе в городе отхватим тебе черную тройку. Пускай люди говорят, как Гаврила справляет своего сына, Мишку: «Эна тройку, какой костюм ему отхватил».—«Можно,—скажут,—ему покупать-то, один сын у него...»

Эти однообразные и надоедливые слова отца подбадривали меня. Когда я останавливался в поле один перевести дух, то слышал его слова:

— Коси, коси, сынок, у тебя кости еще не изломаны, молодой ты, одна надежда ты у меня.

Я слушался, махал да помахивал аршинной косой. Так скашивали мы десятины.

С косьбой покончили, когда солнце в упор жгло наши макушки. Во рту сухо, с болью ворочается язык. Воткнув косы во влажную землю, хочется здесь же, на скошенной траве, пластом протянуться... Лежу, а отец садится рядом, закуривает. Мигом закрываются недоспавшие глаза, начинают забываться... и опять слышу голос:

— Коси, коси, сынок, одна надежда ты у меня...

Наш лохматый Волчок с обрубленным, коротким хвостом, сидящий неподалеку от нас на небольшой скирдушке сена, залаял по направлению к помещичьей риге. Подняв от травы голову, вижу верхового, узнаю рассыльного из волости. Старичок с седой жиденькой бородой на загорелом от солнца лице, в холщевой длинной рубахе, подпоясанный толстой, в палец, веревкой, вместо седла—мешок, туго набитый сеном. Под ним такая же, как и он, седенькая лошаденка, с жидким выщипанным хвостом и вытертой шерстью на боках.

— А-а-а, здорово, Матвеевич! Здорово, староста! Тебя нескоро здесь в поле отыщешь.

Отец одобрительно кивнул и приподнял над плешивой головой ватный картуз с захватанным козырьком.

— Что тебя нелегкая принесла в эту пору?

Рассыльный не спеша вынимает из кожаной сумки пакет и, передавая его отцу, громко говорит:

— На-ка вот, почитай, узнаешь, зачем нелегкая принесла. Служба, служба, Матвеевич!

Я продолжаю лежать врастяжку на животе и посматриваю на бьющуюся лошаденку рассыльного, которую

безжалостно кусают рои слепней и оводов. И мне ее жалко. А рассыльный туго натягивает удила и дерет губы лошади. Но она не стоит, жмется, топочет ногами и виляет хвостом. Он бьет каблуками тяжелых сапогов ей под бока.

— Стой, уж больно нежна! Страсть заели! Барыня какая!—кричит он, натягивая повод.

Глядя на измученную лошадь, я говорю себе: кому лучше житье на свете—мне или лошади рассыльного? Ее очень кусают слепни,—как она ни старается согнать их с себя, ей не удается. Я вижу, слепни кучками сидят на ее животе. Она бьет по животу задними и передними ногами и часто виляет хвостом. Но это не помогает, слепни продолжают пить кровь взмыленной лошади. А рассыльный, видно, сердитый старик: уж очень он раздирает рот лошади железными удилами. Нет, плохая, никудышная жизнь лошади. Ну, а моя-то жизнь чем хороша? Слепней сгоню я с себя; пусть куда хотят садятся, хоть на спину, хоть на ноги— везде достану, не дам пить крови. Да и они пристают ко мне, только когда я лягу на траву отдохнуть после косьбы. А когда кошу, не трогают. Плохо мне вот чем: рано отец поутру будит, а спать очень хочется. Да еще харчи плохи: хлеб да лепешки с картошкой. Охота пшеничненького попробовать. Но на харчи наплевать; когда захочешь есть, картошки нечищенной с хлебом хорошо наешься. Посулил отец костюм к Пасхе—все равно не купит; денег, скажет, нет, подожди до Рождества, к святкам купим, успеешь еще износить-то. Нет, никудышная и моя жизнь. Хотя я все-таки человек, а лошадь скотиною называется. Ежели спросил бы сейчас с неба бог:..

«Мишка, тебе надоело человеком быть. Хочешь, я тебя превращу сейчас в лошадь рассыльного?»

«Нет, господи,—скажу я,—лошадью рассыльного не стану: ее очень кусают слепни, да и он бьет ее,—сердитый, видать, старик. Вот бариновой, из нашего имения—еще подумаю; там жизнь лошадям очень хорошая».

Отец стоял, внимательно прощупывая заскорузлыми, неразгибающимися пальцами толстый пакет, точно хотел прочесть, не вскрывая.

— Мишка!—обратился он ко мне.—На-ка вот, прочитай, сынок, что там написали-то в волости. Не вижу без очков-то я.

Рассыльный торопливо задергал веревочный повод лошади.

— Война началась, Матвеевич, вот горюшко-то... В случае кто, знаешь... будоражиться... не повиноваться станет, ты в город к исправнику; там живо стражники верхом припожалуют, угомонят молодчиков. Понял? Так мне в волости велено передать. Н-но, седой, нам с тобой еще в семь деревень ехать, замучил я тебя сегодня.

— Прямо поезжай, Амельяныч, на Волково, ближе тут будет, да мотри, не забирай вправо: болото там, седого своего утопишь,—наказывал отец уезжающему рассыльному.

Смотрю пакет. На нем адрес, выведенный рукой волостного писаря: «Таболовскому старосте. Собственноручно вскрыть немедленно».

Вынимаю большой желтый лист с крупным печатным заголовком. Руки задрожали, крупные буквы в глазах сливаются, не разберу. Присел плечо в плечо с отцом, лист положил на колени, вожу по верхней строчке прыгающим пальцем. Кое-как сложил семь крупных букв: «Приказ». Разбираюсь дальше: «Его императорское величество высочайше повелевает призвать родившихся в...»

Отец, сидя на корточках, внимательно слушает, робко теребит рыжую бороду, моргает старческими, в слезах, глазами. Я чувствую, как лихорадочно дрожит его рука, сжатая в кулак, на моей коленке. Мурашки пробежали по коже: не знаю, что делать.

Не могу дальше читать.

— И ты попал!—еле выговаривает отец прыгающим голосом.

Оба молчим. Слышу, как старик тяжело и сдавленно вздыхает. Волчок виляет обрубком хвоста, лижет мокрым языком мои босые ноги.

«А кто ж косить-то да жать с отцом будет?»—спрашиваю я себя.

Взглянул на сжавшегося в комок отца, у которого из белых маленьких глаз, путаясь в рыжей бороде, капля за каплей текли слезы. И оттого в первый раз в жизни точно кулак сжал мне сердце. Хочется что-нибудь сказать отцу, но слова не выговариваются.

— А неправильно, обидно, Мишка! С чужой земли берут тебя, своей-то у нас всего две души—два надела. А у Скородумова—эва какая ширь, торгует землей-то. А защищать его сыновья не пойдут, откупятся. Денежки, сынок, все сделают. А ты вот один, единственный у меня, иди, пропадай, клади голову. А за что? Нет, несправедливо. Жалко мне тебя, Мишка!

Голос его резко оборвался, плешивая голова упала ко мне на колени, картуз свалился. Он бормотал что-то страшное, непонятное.

Освободив ноги от отцовской тяжелой головы, испуганный, глотая соленые слезы, я взял косу и ушел от него. Небо сплошь заволокло тучами. От легкого ветра шумела еловая помещичья роща. А в голове мысли собирались нерадостные. На войну мне итти не хотелось. Войну я видел только на картинках в

трактире. Страшная и непонятная она там такая: солдаты в синих пиджаках смешаны с лошадьми и пушками. А на земле в крови лежат убитые; к ним подходит сестра в белом платке и с красным крестиком на рукаве, с видом ангельским. Страшная война на картинках. Так бить людей не хватит смелости у меня. Барана или теленка—это еще ничего, резал я, перекрестясь, в хлеву, да и то страшновато—храпят, когда умирают, ногами бьют—не подходи.

Нет, непонятная эта война; не знаю я о ней ничего. Знаю я только косить зеленую траву да быстро жать, не обрезая пальцев на руках, спелую рожь, а зимой за верстаком в городе на фабрике верно пилить и строгать смолистую сосну—вот все, что я знаю и умею.

«А что, Васька Курочкин, мне ровесник, тоже откупится?—спрашиваю я себя.—Не пойдет воевать вместе со мной? Ну а Пряхину Сёмке итти,—у отца его тоже ничего нету, всегда ходит в рваных портках. Ванька Климов и Егорка Семенов—эти тоже ровесники, бедные, со мной пойдут».

Так иду, перебираю в голове своих бедных и богатых товарищей—кому из них итти со мной, а кому не итти, кто откупится от войны, не пойдет.

Слышу, за лесом, в деревне, поет наш петух. Голос его я отличал от других петухов издалека, как только слышит мое ухо. В лесу на узенькой дорожке попадается наша лысая корова. Увидев меня, она тихо замычала, остановилась, спокойно глядит на меня слезящимися в углах умными глазами. Поставив к елке косу, я стал прощаться с ней, фыркая носом и смахивая рукавом грязной рубахи слезы.

— Ну, прощай, Лысенка! Меня берут на войну,—гладя ее продолговатую лысину, говорю я ей.—Прости меня: вчера ты забралась в наш огород и съела три

кочана капусты,—за это я, прижав к изгороди, выстегал тебя хворостиной.

Нагибаюсь поцеловать ее курчавый белый лоб. Она махнула головой и острием рога больно ударила меня в висок.

На мой свист верная собака моя не прибежала, скрылась от меня.

«А кто же косить да жать с отцом будет?..»

С этой мыслью не расставался я всю дорогу до дому.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Сизыми прямыми столбцами валит жиденький дымок в безоблачное, хмурое небо из сорока двух труб деревни Таболова. Давит убогие хаты солома, позеленевшая от долголетнего горя мужицкого. Не обошло горе тяжелое и нашу хату крайнюю. Мать, утирая слезы концом желтого платка, режет на столе от длинного белого холста мне новые портянки.

— Война, сынок, говорят, недолго протянется, кончится, бог даст, скоро. Приедешь домой,—тихо шептала она.

— Да, да, угадала. Только начнись, затянет она народ, как в паутину, не выберешься из нее,—сердито говорит отец в кумачной рубашке под окном.—Ты, сынок, особенно не храбрись, в огонь-то сам не суйся, сторонкой-то лучше будет. Канавка да кустик, бывает, помогут спастись человеку. Да сразу вас, небось, в бой не пошлют, не обучены вы... Не забывай нас с матерью, письма-то почаще присылай,—чай, писать-то знаешь.

Он достал из кармана широких штанов засаленный кошелек и дал мне вчетверо сложенную трехрублевую бумажку.

— На, не оброни, мотри, сынок, подальше убери.

— Мишка, я тебе в сумку положила маленькую иконку, пресвятую богородицу казанскую, заступницу. Береги ее, мотри, не вытряхни где дорогой. Там и полотенце свое девичье положила, портки с рубашкой тоже там лежат. В город поедем, головки тебе надо купить, старые-то сапоги у тебя плохи уж стали, с ног спустились они.

— Собираетесь?—высунувшись в окно, спросила соседка, бабушка Арина.—Пряхины со своим Ганькой поехали. Воет очень Акулина, мать-то его. Старший тоже у них, а дома-то одна мелюзга осталась. Ах, война, война, наказанье божие! Говорят, наш царь не хотел воевать, да идут эти нехристи немцы. Ну, прощай, Мишенька!

Я поцеловал старуху-соседку. Она сунула костлявой рукой три медных пятака в мою руку.

— На тебе, родимый, пригодится...—и заплакала, приговаривая:—Смирный парень-то рос, и воды в деревне не замутил и по огородам мало баловал.

Отец запряг лошадь и, громко сморкаясь, вошел в избу.

Сняв с головы помятый картуз, сказал:

— Давай, мать, благословим его, да пора уж и ехать.

Три раза поклонившись в ноги плакавшим с иконой в руках отцу с матерью, еле сдерживая слезы, вышел я на улицу.

После часовой тряской езды по камням и ухабам я с сумкой—в уездном городе. Казенки закрыты, а призывники, пьяные, поют песни. Сижу на телеге, устланной душистым сеном, глажу и прижимаю к себе свою лохматую собаку. Она ничего не знает, попрежнему ласкается, виляет обрубком хвоста и шевелит тонкими ушами. И я забавляюсь с ней: мне

становится как-то легче на душе, и я забываю про всё. Сижу и слушаю. Ровно льется, как чистый ручеек, молодой с переливами голос:

После-е-дний но-онешний ден-е-чек
Гуля-ю с вами я, друзья...

Гармошки плакали, женщины, повязанные черными платками, выли. Вблизи слышу охрипший от слез женский голос:

— А-ах ты, наш кормилец!.. Да на кого-о ж ты нас оставляешь с детками малыми...

К плачущей женщине проталкивается среди людей и телег чиновник с ясными пуговицами.

— Довольно тебе орать-то, народ удивлять. Пенсию за него получать будешь больше того, что он у тебя зарабатывал,—лучше жить без него будешь.

— На что нам ваши деньги, пенсия-то. Вы парня, парня-то моего не берите,—сквозь слезы, убедительным голосом, заговорила стоящая у телеги высокая, с желтым лицом старушка.

— С ума вы, что ли, сошли, окаянные! В такую пору последних мужиков от нас обираете!!.

— Так, бабка, нельзя: за такие слова тебя арестуют,—сказал кто-то из стоящих.

— Ну что ж, сажайте: в тюрьме хоть высплюсь, отдохну досыта.

Помолчав немного, она сильно замахала сухими руками с узловатыми жилами.

— Да как же. Он, нешто, дурак какой, царь-то. Управители-то наши не понимают, ведь трава недокошена, гнить будет. И рожь на корню стоит, попреет вся. С ума, с ума сошли, черти. Не дело затеяли в такую пору.

Толпа снова раздвоилась; подошел тот же, с ясными пуговицами, и указал городовому белой, в кольцах, рукой:

— Пьяная, отведи ее—пусть проспится.

Городовой важно расправил белые усы на две стороны и взял под руку напуганную старуху.

— Что ты, что ты, барин!.. Какая же я пьяная. Я и в рот-то ни капельки не брала. Я... я-а-а...

А городовой важно надувал багровые щеки и твердил, волоча старуху:

— Прошу не супротивляться, не супротивляться—хуже получится.

— Пятрушка, а Пятрушка!.. Прибери мою шаль там, на телеге, не унесли бы, ведь много здесь разного народу,—наказывает сыну старуха.

Городовой краснел и упирался.

— Прошу не супротивляться, не супротивляться—хуже получится.

А молодая женщина, с растрепанными русыми волосами, висла на шее мужа и выла:

— Оставляешь ты нас одине-а-а-аньких, со-о-окол ты наш я-а-асный!..

Стражники поддерживали «порядок». Заломив, как один, на правую сторону картузы, озабоченно разъезжали по городу на сытых лошадях.

Лошади ржали; церковные колокола гудели: шла обедня.

Из открытых церковных окон слышится басистый голос соборного дьякона:

— И всему христолюбивому всероссийскому победоносному воинству многая лета...

Пьяные песни, рев женщин, ржание лошадей, голос из церкви, звон колоколов, визг гармоний и скрип телег—все это сливалось в один непонятный адский

шум и стон, от которого кругом ходила моя трезвая голова.

Мать сидела на телеге, терла красные глаза фартуком, мокрым от слез. Отца не было: он был пьян и куда-то ушел. Я, словно пришибленный, хожу вокруг своей лошади, глажу ее путанную гриву, смотрю заплаканными глазами в ее темные, как ночь, умные глаза и тихо шепчу ей:

— Вытерплю, не заплачу... Некому будет теперь вскачь проехать на тебе... Прощай, Рыжий! На войну угоняют меня...

Сердце от боли щемит. Как хочется поскорее вырваться из этого страшного шума. Не переставая рассеянно распутывать гриву Рыжего, говорю матери:

— Может быть, принаймете покос-то косить?

— На что нанять-то? На вши-то, сынок, не наймешь... Сама буду как-нибудь со стариком волочиться... Что окосим, а что и в поле оставим: стары мы, никудышные.

Под хомутиной замечаю сбитое по дороге в город плечо лошади. С усилием объясняю об этом матери, а она мне на это сказала:

— Глуп ты еще, глуп, Миша. Гляжу я на тебя — совсем как мальчик ты у меня. Подумай: ведь на войну идешь, думай о себе, а не об лошади...

Она заплакала, опустив голову в душистое сено.

— Мишка, Мишка!.. Прощай, сынок милый!..—кричит пьяный отец, тиская в руках фуражку.—Я тоже гожусь, в немцев стрелять умею. Возьми меня, я с тобой воевать пойду за православный народ и веру христианскую!..

Он бросил на землю, под телегу, картуз, широко развел руки, прижав меня к телеге, тыкался, терся своим пьяным слюнявым лицом о мое лицо.

— Прощай!..—бормотал он.—Я купил тебе головки новые, и нет у меня больше...

Мать подсобила, и мы положили его в телегу, пьяного и бесчувственного.

Как тяжело расставаться с этой вот глядевшей на меня рыжей лошадью, запряженной в убогую телегу, и никому не нужными, кроме меня, стариками.

Собака, повизгивая, скользит шерстью о мои ноги, шевелит длинными ушами, просится домой.

Не видно маленькой избенки, не слышно уже знакомого голоса петуха, все это волновало и будоражило мою молодую грудь. Во рту пересохло... горе сдавило горло...

«Господи, что же это такое?! Ведь это же мученье, от этого можно умом помешаться»,—говорю я себе.

Вижу, как телега тронулась домой с моими стариками, погромыхивая о камни колесами.

Отвернулся, как в тумане, закружилась голова...

Помню, как во сне, голос толстого, с проседью, воинского начальника с золотыми погонами на круглых плечах:

— Желаю вам, молодцы, вернуться всем генералами!..

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

У кирпичных казарм в два этажа, на зеленом, вытоптанном серыми плешинами плацу с установленными в несколько пар соломенными чучелами, мы, пахнущие рожью, с разговорами о косьбе, о детях и матерях, беспорядочно, в первый раз отроду, становимся в длинные шеренги.

Солдат с черными, лихо закрученными в кольца усами, выравнивая шеренги, старательно кричит:

— Стоять смирно! Не расходись! Сейчас придут офицеры и будут разбивать вас по частям. Если они будут с вами разговаривать, то называйте их «ваше благородие»,—это, ежели, скажем, поручик будет. А ежели генерал, то его по-другому: «ваше превосходительство» называть надо. Знайте, вы теперь не в деревне у мамки: довольно, поели сметаны, да будет. Теперь солдатами будьте. Поняли? Вон выходят, идут. Не толкайтесь, стойте по-солдатски! Вот, вот так,— все старательнее приговаривает он, суетясь по мере приближения начальства.

— Да, здесь, должно быть, молочка со сметанкой не попробуешь!—сказал коренастый парень со светлыми кудрявыми волосами.

— Дадут, дадут нам всем сметаны, ах, солоно покажется, подождите,—уверенно сказал новобранец из рядов.

Три офицера в начищенных узеньких сапогах со звонкими шпорами ходили по рядам и, остановившись, спрашивали: «имя-фамилия», и записывали в книжку.

По мере приближения начальства становится боязно. Курчавый тихонько толкает меня локтем:

— Ты большой, высокий, просись у них в гвардию. Служба там уж очень хороша, говорят. Только охрана одного царя, и больше ничего. И на войну в сражение не попадешь. Я бы сам туда попросился, да мал, не возьмут меня.

Мудрено, не выговоришь, как надо называть начальство. Боюсь проситься служить царю, в гвардию.

— Меня в гвардию запишите,—просит убедительно курчавый подошедших офицеров.

— Подрасти на пол-аршинчика, тогда гвардейцем сделаем.

— Ну, тогда в саперы назначьте, пожалуйста!

— А ты что, знаком с саперным делом?—спросил его полный офицер с клинообразной черной бородой, стирая белым платком пот с бритой головы.

— Нет, я так попросился... может, можно...

— Нет, так нельзя, мы так не назначаем,—резко ответил высокий молодой офицер с книжкой в руках.

Переговорив о чем-то с другим офицером, тот же, полный, с черной, клинышком, бородой, спросил меня:

— В гвардию, в Петербург хочешь? Гвардейцем сделаем тебя. Ну, говори фамилию!

— Мне все равно, куда хошь, посылай.

— Крестьянин ты, из деревни?—спрашивает другой.

— Да, крестьянствуем. Теперь там один отец с матерью остались, а фамилия мне Гаврилов.

— Об отце с матерью тебя не спрашивают, чубук из деревни... В Петербург,—сказал он записывающему.

— И меня с ним туда запишите, пожалуйста,—просит обиженно курчавый парень.

Ничего не ответили ему офицеры.

— Счастлив ты, Гаврилов! Вот помни, не жизнь, а малина тебе там будет.

Ушли, позванивая шпорами, офицеры, а нас с курчавым обступили новобранцы.

— От горшка два вершка, а «в гвардию запишите меня». Росту нет, кудрями белыми не возьмешь, брат.

— Какой ты гвардеец?—заговорил смуглолицый, в полосатом пиджаке новобранец.—Ты знаешь, мой дядя Федот служил в гвардии, в нем росту-то без малого три аршина, да в груди вот такой вот,—он широко развел руками.—А ты куда супротив его годишься! Пузырь дождевой, щенок белогубый против него...

От казарм долетела звонкая невеселая песня:

Нельзя, нельзя, моя родная,
Нельзя с собой мне тебя взять.
Казармы там у нас сырые,
И спать мы будем на полу.

Повалявшись на траве, со своими деревенскими—Егоркой и Сёмкой—пошли в казармы и развалились там на новых дощатых нарах. Разглядывая новое, отроду не виданное помещение, Сёмка сказал, улыбаясь:

— Окна-то здесь какие! Больше нашей деревенской двери будут.

Егорка, морщась, покряхтел, почесал подмышкой и, оттянув тремя пальцами из-под плеча мокрую зеленую рубашку, сказал деловито:

— Больше тыщи, небось, стоит сделать такое... Зато постоит уж, не загорится, не бойся.

— Счастлив ты, Мишка,—вздохнув, опять начал Сёмка.—В гвардию в Петербург тебя от нас ушлют, а мы здесь в пехоте-матушке обучаться останемся. Говорят, колоть нас заставят вон тех, что на улице стоят, соломенные пужалы-то, чтобы руки к ружью привыкли. И стрелять из винтовки, наверно, в них заставят.

— Что ты, разве можно стрелять!.. Там народ ходит,—перебил Егорка.—Убить можно кого.

— А может быть, у чучелов нутро-то железное, ежели только промах дашь,—подумав, ответил Сёмка.—Я слышал от ребят на луговине,—начал снова он,—начальник один здесь в пехоте сердитый, очень на руку дерзкий—бьет почем зря на учении. Как чуть не так повернулся или сказал не по нем, сейчас по морде ударит. А мы, конешно, сперва-то ничего не знаем. Будет он нам с Егоркой всыпать на «орехи».

— Все равно и Мишку там, в гвардии, обучать будут—он тоже, как и мы, ничего не знает,—задумчиво

разглядывая оштукатуренный белый потолок, заговорил Егорка.—Это хотя верно—служба там легче будет, только будешь знать, как охранять царя. В дому, Мишка, в царском побываешь, узнаешь, как он там живет. Одежу, говорят, там дают хорошую, красивую, с лентами, с кистями разными. Поедешь, снимешься в одеже на карточке, пошлешь отцу в деревню—обрадуется он. «Вон,—скажет,—куда Мишка мой попал, самого царя охраняет от жуликов разных». Да и кормить-то, небось, вас там будут лучше, а в случае плохо—царь близко, пожаловаться можно.

Я молчал и почти не слушал их разговора. Новая казарменная обстановка ошеломила меня, в голове шумело, от ничегонеделания уставали руки и ноги. А деревня с двумя стариками не выходила у меня из головы. Вечерняя темнота понемногу забиралась в большие окна казармы. Говор мало-по-малу стал утихать. Я разул свои новые трехрублевые головки-сапоги, от которых водянкой покрылись подошвы и пятки.

— Я разуваться не буду, так засну,—повертываясь на бок, сказал Сёмка.

— Умучился сегодня хуже косьбы в десять раз. А, кажется, отчего бы замучиться,—ничего ведь не делал.

Разувшись, я тщательно осмотрел кругом сапоги, обтер с них тряпкой серую пыль, и, ставя их против себя под нары, подумал: «Товар хорош поставлен, поносится. Верст сотню прошел, и по камням, а у них только немного подошвы пообтерлись—добротны попались».

В казармах темно, хоть глаз выколи. Ночь властвовала во-всю; говор новобранцев сменился дружным храпом, как это бывает после непривычной тяжелой работы.

— Степанида... давай вилы, вилы большие...—режет тьму сонный голос.—Грабли... корова пестрая... Ганька, вали, забегай, лови!..

В большое казарменное окно заглядывал огненный полумесяц. Дома, в деревне, я спал в сарае, на угольнике сена. Всего несколько дней назад вот этот самый полумесяц светил мне в старую, выломанную воротину сверху. Там, в сарае, было хорошо, не о чем было думать: как лег, так и уснул крепким непробудным сном, пока отец на зорьке не постучит в ворота: «Мишка, вставай, косить пора. Соседи пошли, и народ весь пошел».

Я тянулся, вставать не хотелось, сонные ноздри жадно вдыхали запах душистого сена.

— Ну, ну, тянись! Вставай, середь дня отоспишься. Пошли ведь люди. Петруха Кулагин полчаса уж, чай, ушел.

Какими ласковыми, хорошими кажутся теперь мне отцовские слова, а почему же раньше так равнодушно я относился к ним? И когда теперь приведет господь услыхать мне эти слова?.. В засыпающей голове бродят соломенные чучела, расставленные на плацу, которые придется колоть штыком... красивая одежда, в которой в гвардии придется отдавать честь самому царю.

Поутру Егорка схватил меня, спящего, за стертые ноги. От испуга и боли я сразу соскочил и сел на корточки.

— А где твои новые сапоги? Спрятал, что ли, ты их куда?

Испуганный, объясняю ему, что вчера вечером я смахнул с них пыль и поставил под нары.

— Ах ты, гвардеец!.. Проспал свои новые сапоги. В чем теперь в гвардию-то пойдешь? Босого-то не примут там.

Ползая под нарами в поисках за сапогами, нашел двугривенный. Я молча положил его в карман. «Если не хватятся, кто посеял, то мне пригодится»,—смахивая с лица паутину, думал я. Выбравшись из-под нар, я стал спрашивать о пропаже моей у стоящих новобранцев.

— Что ты к матери на печку приехал, разулся-то! Здесь, брат, последнюю рубашку стащат да продадут на базаре, а не то что твои новые сапоги. Эх, соня, соня! Проспал сапоги. В чем ходить-то будешь теперь?

С утра до обеда обшаривал я все уголки казармы, у каждого попавшегося на глаза новобранца спрашивал, но сапог не находилось. Потеря сапог для меня несчастье. В казарменной тесноте мои ноги с кровавыми мозолями не раз попадали под тяжелый сапог новобранца. И я, точно маленький, приседал на месте и со слезами дул на содранную до крови мозоль. А купить другие сапоги было не на что, от трех рублей, которые мне дал отец на прощание, остался только рубль, а два рубля проел по дороге, на колбасе да на баранках.

На оставшийся рубль и найденный под нарами двугривенный, да на три пятака, подаренные мне соседкой, бабкой Ариной, за то, что маленький я не лазал к ней в огород, сапог не купишь. Жалко новые сапоги! Больно, точно в огне горят потертые, отдавленные ноги!

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Простившись со своими деревенскими товарищами, Егоркой и Сёмкой, босоногий, поехал я с девятью незнакомыми новобранцами в гвардию в Петербург.

Солдат, сопровождавший нас,—человек разговорчивый и недоверчивый. Когда на станции останавливается

поезд, и мы выходим из вагона купить булок, набрать в новые жестяные чайники кипятку или просто походить, он каждый раз нам строго наказывает:

— Смотрите, ребята! Далеко не расходитесь: дернет паровоз, и пойдет поезд, а вы останетесь на станции, не успеете сесть. Мне, ведь, в Петербурге придется за вас отвечать. Я должен сдать вас под расписку начальству. Вы теперь люди не простые, а казенные, солдаты, да еще царского войска—гвардейцы.

А когда поезд трогается и вагоны, позванивая на стыках и стрелках, убегают от станции, он садится на свое место в углу, у окошка, не спеша вынимает из своей кожаной сумки сопроводительную бумажку и список, на котором написаны все наши десять фамилий, внимательно рассматривает каждую букву, точно сомневается в их правильности. А мы все сидим рядом с ним и смотрим на него, своего вожака. Убедившись в правильности и вескости бумаги, он встает грудью вперед, внушительно то подымает, то опускает густые русые брови, отчего шевелятся покрытые нежным пушком его уши.

— Грунин!

— Здесь,—отвечает сидящий у его колен новобранец.

Провожатый поднимает брови и отмечает острым карандашом.

— Дроздов!

— Я—вот, рядом с вами.

— Ага, здесь.

Поморщившись и нахмурив брови, ставит крючок своим острым карандашиком. Я был в его списке третьим и всегда отвечал, сидя у окна напротив него: «здеся» или «тута».

Ответы наши ему не нравились, и он, окончив перекличку и убедившись в нашей целости и невредимости, разъясняет спокойно:

— Вы теперь солдаты, на военной службе находитесь. Так отвечать нельзя, как вы отвечаете: «здеся», «тут сижу» да «вот тут». Что это за ответ! Срамота — не ответ, не по-солдатски это. По-нашему, по-солдатски, вот так. Слушайте внимательно. В случае меня вот спрашивает ротный командир, как я должен отвечать?

Он встает с лавочки, одергивает шинель и надевает немного на правый бок потертую зеленую фуражку с новой круглой, точно блюдечко, кокардой и, шевеля бровями, кричит сам себе звонко:

— Репкин!

И отвечает:

— Я, ваше благородие!

— Как ты, в целости всех сдал новобранцев?

— Так точно, всех, ваше благородие!

— А что ты мне привез, Репкин!

— Две бутылки вина петербургского, ваше благородие.

Проделав это, он садится и бережно укладывает в кожаную сумку путевку и список с нашими фамилиями.

— Вот как по-нашему надо! Еще серые вы, учить, учить вас надо, пока домашняя каша из вас не повысыплется. В Петербурге, в гвардии, обучающие хорошие должны быть, — выучат. Тоже будете службу военную знать так же, как и я. С вами занимаюсь я из любопытства. Сдать бы вас в целости — вот мне что дорого-то! А на учение мне наплюнуть — выучат там без меня кадровые, в Петербурге.

Из девяти ехавших со мной в Петербург новобранцев говорить часто и подолгу приходится мне с одним—с Дроздовым.

— Почему же ты, Гаврилов, без сапог?—спрашивает он меня.

— У меня в казармах в первую ночевку украли.

Он первый из виданных мною за это время людей не стал называть меня «разиней», «соней», «вислоухим», а сказал, жалеючи:

— Надо, брат, быть поосторожнее. Среди новобранцев всякие есть, доверяться нельзя, воруют некоторые. Я бы помог тебе, Гаврилов, купить сапоги, хоть поношенные,—плохо без сапог-то. Но у меня у самого остался один рубль. Деньги мне нужны больше, чем тебе: я курю, а ты некурящий.

Первое время я стеснялся с ним говорить, когда он глядел на меня сквозь стекла очков колкими маленькими глазами. Очки у него за уши не закладываются, а держатся прямо на носу. Видел я такие очки у сына земского начальника в городе. И когда нас направляли в Петербург из казарм, я думал, глядя на Дроздова: «Этот, должно быть, из богатых попал. Откупится. Разве заставишь таких хлюстов в солдатах служить». И всячески старался избегать с ним разговоров, думая: «Гусь свинье не товарищ». А теперь, по дороге, познакомившись с ним, я рассказал ему, ничего не утаивая, всю свою жизнь, лежа вместе на полке.

К вечеру новобранцы, убаюканные вагонной качкой, разместившись по полкам, спали. На нижней полке, растянувшись во весь свой небольшой рост, сопел и сопровождающий нас Репкин с закрытыми глазами, придерживая свою кожаную сумку недоверяющей рукой. Сквозь стекла очков Дроздов поглядывал в вагонное окно усталыми глазами. Против него,

прижавшись в уголок, под откинутую полку, сижу я. Поезд идет, лениво постукивая колесами, разрезая на пути леса с большими стройными соснами, сжатые ржаные поля около таких же деревень с соломенными крышами, как наша деревня Таболово. Глаза ищут крайнюю избушку с тремя маленькими окошками. А за оврагом у деревни мелькнула как будто наша несжатая полоса с почернелой рожью. И солнышко аккурат так же, как и у нас, садится за соломенные овины!

Вглядываюсь через окно в мелькавшие передо мной родные картины, среди которых я рос, и грустно становится мне, непрошенные слезы навертываются на глаза. Но я стараюсь их скрыть от сидящего насупротив Дроздова. Развязываю лежащую в углу холщевую сумку. Попадается положенная матерью маленькая иконка.

— Вот материно благословенье,—говорю я.

— На что она тебе? Брось ее за окно,—тихо, но внятно сказал Дроздов.—Дощечка это крашеная— вот и все.

У меня по коже пробежала дрожь: первый раз в жизни услышал я такие страшные слова. «Такой хороший человек, а говорит такие грешные слова»,—подумал я. Если бы это было в деревне, я не сдержался бы, ударил бы его по уху за такие слова. Обиженно завязываю мешочек с иконкой и говорю, не глядя на него:

— Ведь это казанская икона божией матери. На иконы грех так говорить. Ты нешто не православный, не нашей веры?

— Ты, Гаврилов, не волнуйся, а послушай, что я тебе скажу. Ведь глупостей я тебе еще за все эти недели не говорил. Я тоже, как и ты, крестьянин, Смоленской губернии, и православный тоже, как и ты. Пойми, послушай: какая же это святая икона? Во

Владимирской губернии эти святые иконы делают деревни большие. Ремесло это их, понял? Делаются они из обыкновенных досок и крашены тоже простой краской. Твой отец, например, сапоги и башмаки в деревне шьет, а мой отец сани делает. А во Владимирской губернии иконы вот такие делают, их богомазами называют. Этим делом они кормятся, кусок хлеба себе зарабатывают. Делают иконы эти грязными, неумытыми руками, ругаются матерком, ежели что не заладится: нос набоку выйдет или глаза раскосые получатся. Селедки режут на них же, неотделанных. Ну вот, подумай сам, какие же они святые?

— Ведь их после, когда отделают, святят святой водой, тогда они очищаются от всего грязного.

— Святят их самой обыкновенной водой. Какая же она святая? Святой воды на земле нет—вот и все. А у попа тоже служба церковная—мастерство, живет он этим делом, больше ничего.

— А в евангелии-то, в законе божием написано: есть бог, и иконам там велено молиться. Да потом, ежели не было бы бога, откуда появились бы люди первые, скотина разная на земле?

Я чувствую свою слабость, говорю Дроздову, что знаю и что слышал от стариков в деревне, которых умными считают по округе нашей. Они таких людей называют забастовщиками, не верующими в бога, нехорошими людьми. Я все время добивался посмотреть на таких людей. Они в моих глазах были какими-то необыкновенными. И мне радостно становится теперь, смеюсь на себя и на всех. Какой это не верующий в бога человек! Не таким, совсем не таким казался он мне в деревне. А поверить его словам, что бога нет и что икона простая доска крашеная, боязно, жутко как-то!

А Дроздов слово за словом вдалбливал в мою свежую голову страшные слова:

— Человек выродился от обезьяны, а обезьяна появилась от какой-нибудь мошки или червяка, вообще от живого существа. Ты, Гаврилов, может быть, не поверишь. Почитать книг научных тебе надо, а не закон божий с евангелием. Я сам, было время, верил и богу и иконам побольше тебя еще; все монастыри с матерью исходил, молился все. А теперь почитал книг, и нет, говорю тебе, ни бога, ни чорта, и в церковь вот уж десять лет не хожу.

— А ты откуда сюда прислан-то, прямо из деревни али, может быть, еще откудаво?—спрашиваю я недоверчиво.

— Нет, не из деревни. Я в Москве работал в типографии, где книги, газеты печатают. У нас там на фабрике многие не верят в бога, не я один.

«А у нас в деревне нет ни одного человека, который не молился бы иконам, не ходил бы в церковь и не верил бы в бога. Все верят, все молятся»,—такие мысли пробегают у меня в голове.

Вагонную тьму изредка освещала молния. Поезд трясся и двигался в ночную тьму, стуча колесами на стыках и стрелках.

Грозы я боялся еще в детстве, и мне особенно страшно слушать этого человека, говорящего мне такие страшные слова. «Вот ударит гром в железную крышу вагона,—думаю я,—и вагон наш разлетится в щепки. Отжили мы тогда и все едущие в вагоне. Или вот еще что может случиться, чем бог может покарать: вагон наш с рельс может соскочить, и тогда пострадают и те, которые ничем не виноваты в этом деле».

При свете молнии был виден Репкин с кожаной сумкой под головой. С верхних полок свешивались руки и ноги спящих новобранцев.

Точно клинья дубовые, заколачивает Дроздов до утренней зари в мои отуманенные мозги безбожные слова.

Уже в окне замелькали незнакомые мне станции и полустанки.

Из маленькой корзиночки, сплетенной из разноцветных прутьев, достал Дроздов потрепанную книжку без переплета и оглавления и сказал тихо:

— На, вот. В ней говорится про царя, и про бога написано. Смотри!..—погрозил он пальцем,—никому не показывай, читай один, наедине, чтобы никто не видал. Ежели в случае заметят, и не успеешь разорвать или забросить—в вокзале поднял, скажи. Ежели попадет она в руки начальству петербургскому—тюрьма тебе! Пропал ты тогда!

У меня задрожали руки.

— Нет-нет, что ты! Никому не покажу, и никто у меня ее не увидит!

Когда прятал книжку в сумку, на глаза попалась иконка с потрескавшейся краской. Прослезился—не знаю отчего—и гляжу на властного Дроздова.

— Бросить али не надо?—спрашиваю я его как бы в шутку, держа иконку в дрожащих руках.

— Конечно, бросай. Накой она тебе леший? Тяжесть лишняя только. Одно из двух—книжка или иконка.

Я в страшной нерешительности, не знаю, что делать. Держу в дрожащей руке материнское благословение. В эту минуту сказал бы мне Дроздов: «Прыгай вон из вагона», не знаю, мог ли бы я ослушаться этих маленьких повелительных глаз.

— Одно из двух, брат: книжка или иконка,—повторил Дроздов, глядя на меня, растерявшегося.

Сила невидимая будоражит растроганную грудь. Отец да мать, да еще кто-то промелькнули в моей голове. Я улыбнулся сквозь слезы.

— На, бросай сам, я боюсь, трогает что-то,—говорю я послушным голосом.

Дроздов привстал, опустил оконную раму и махнул рукой...

От страха зажмурив глаза, я слышал, как стукнулась обо что-то деревянная иконка. Страшно, не сошел бы вагон с рельс от этого! Рука невольно нащупала под рубахой медный крестик на тоненькой бечевке. Но разум смолчал умышленно...

Дроздов улыбнулся, пожал мне крепко руку и полез на верхнюю полку за ночь отсыпаться.

С этого часа я почти перестал думать, что у меня нет сапог и я разутый, что у меня нет денег—а деньги все-таки нужны в солдатах. Я радовался, что моя голова освободилась от этих обыденных мыслей, ежеминутно мучивших меня. А стал я думать о другом, дотоле не виданном и не слышанном. Совсем другим, перерожденным человеком вышел я из вагона, когда приехал в Петербург. Радовался я радостью ребенка, что меня взяли в солдаты. Потому что здесь много разного народа, и от него можно многому научиться.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Ночью, простеганные дождем, пришли в лагери. Сопровождающий Репкин, поставив нас у палаток, пошел отыскивать дежурного офицера.

— Мотрите! Стойте смирнее, не расходитесь... Сию минуту приду я.

Спустя с полчаса высокий, немного сутуловатый офицер, протирая сонные глаза, спросил Репкина:

— Откуда они!.. А-а... молодые... Сколько их?

— Десять человек, ваше благородие,—громко ответил он.

— Отведи их вон в ту свободную палатку,—указал офицер на чернеющие во тьме ряды сгорбленных палаток.—А сам можешь отправляться, откуда прибыл.

— Слушаюсь, ваше благородие,—отчеканил Репкин, держа под козырек руку.

В палатке не было ни нар, ни соломы, холодный ветер подымал от земли неукрепленные концы палатки и трепал их.

— Ну, до свиданья, прощайте, молодцы,—уходя, сказал Репкин.—Мне надо назад ехать. Спасибо вам, что не отстал из вас никто. Служите верно на службе царской.

Последние слова сказал он громко, наверно, для того, чтобы услыхал офицер.

Сняв с плеч мокрые пиджаки и пальто, мы разостлали их на вытоптанной сырой земле и легли все десять вповалку, положив под головы мешки и сумки. Дождь в дыры палатки поливает нас холодными тоненькими струйками. Ежимся, стараемся прижаться поплотнее друг к другу, чтобы согреться и уснуть до рассвета. Сиверкий ветер поднимает концы палатки, дует мне в спину и треплет рубашку. А тоненькие струйки дождя льют на непокрытую голову, на босые ноги, сбитые по дороге, с засыхающими болячками.

— Чорт те задави! Да разве уснешь в такую непогоду под решетом этим!—ругается Дроздов, пощелкивая зубами от холода.

— Ой! Скорее бы светало... Ведь здесь простыть, сдохнуть можно!—вторит другой грубым голосом.

— Ничего-о-о... Которые служат в гвардии, им и дождь и холод нипочем,—смеется, дрожа в такт со мной, Кузя широкоспинный.—Недаром сюда в гвардию таких здоровых верзил выбирают: нам дождь с холодом непошто. Терпи, ребята, терпи. Привыкли у матки на печи-то дрыхнуть, а здесь сбрызнуло дождичком малость—не по нутру, не нравится.

Воет холодный ветер, шлепая мокрыми концами палатки. Без конца тянется дождливая, холодная ночь. А в голове одна мысль: «Хорошо бы уснуть до утра сном непросыпным». Ждет дрожащее тело теплого, сухого покоя.

Утром, когда день еще медленно и робко выпирал сердитую ночь, мы, измятые, с взъерошенными волосами, друг за дружкой выползаем из палатки, завидя поджидавших поодаль назойливых торговок с корзинами мягких булок. Есть хочется, а дорого, не купишь румяных булок в корзинах. Есть в кармане пятиалтынный, но жалко тратить: может быть, на что нужное пригодится. У кого остались домашние деньги, те берут булки из корзины нарасхват, а у кого денег нет—пошли продавать торговцам пиджаки с сапогами. А кто посмелее—ушли просить кусок хлеба к старым солдатам в палатки. Голод не тетка, трудно беречь нужный пятиалтынный. Купил на него мягкую булку, съел в два глотка, словно большая голодная собака. Слюна появилась во рту, и есть еще пуще хочется. Пошел и я просить у солдат по палаткам черненького хлебушка. Вхожу в первую:

— Сами на одном хлебе сидим.

Прошу в другой:

— Что вы, как нищие, шляетесь. Не пекарня, небось, в нашей палатке!

А есть хочется. Подхожу к третьей:

— Пролопал сапоги-то, загони и пиджак. Чего жмешься. На довольствие не раньше завтрева зачислят, после разбивки по ротам. Еще пощелкаешь зубами-то по-волчиному...

Больше не стал просить. «Ну, и народ. Куска хлеба жалко, а буханки круглые в палатке лежат»,—обиделся я.

У нашей палатки ребята, усевшись, едят мягкие булки, продав свои вещи.

— Чего жмешься, босоногий? Небось, есть хочешь тоже. Вон там, за палатками, у берез,—указали они,—твой пиджак ожидают торговцы. Иди скорее, полтора потянет, вот и с булками будешь. На что он тебе? Одежу казенную скоро дадут.

Есть хочется, живот подтянуло—просит он булок белых или хлеба черного, которого солдаты даром не дают.

Жалко, однако, пиджачок новенький. Мать наказывала, когда провожала: «Пиджачок по почте домой пришли, сынок. Отцу пригодится».

Торговцы увидали меня издалека и, точно вороны, закаркали, почуяв добычу.

— Говори, сколько тебе за потертый-то?

— Два рубля с полтиной,—подумав, говорю я.

— Три четвертака получай, пока дают,—сказал смуглый торговец, потряхивая пиджаком.

— Што ты,—говорю я обиженно,—мы с отцом прошлый год в городе в лавке четыре рубля с четвертаком заплатили. Не отдам нипочем, лучше домой отошлю по почте. Совсем новый. Я только по праздникам четыре раза и надевал его, а ты семь гривен даешь.

Торговец, с дымящейся трубкой в зубах, вырывая пиджак у смуглолицего, нахмурив седые брови, сказал внушительно:

— Рублевка прекрасная цена ему! Ну, берешь? Получай. Чего молчишь-то, али цены своему сокровищу не знаешь? Страсть, товар какой, подумаешь!

— Дешевле полутора целковых не отдам,—ответил я с навернувшимися слезами обиды.

Смуглолицый сунул мне в руку деньги и толкнул меня с силой в спину.

— Иди, иди скорей! Разбивка по ротам началась. Кличут тебя.

Я побежал со всех ног, крепко зажав в кулаке сунутые деньги.

А как обидно и больно сделалось, когда узнал, что никакой разбивки не было, и никому я здесь, среди незнакомых людей и палаток, не был нужен. Простая, не знающая обмана натура моя не удержалась от слез, когда в моем зажатом разгоряченном кулаке оказалось не полтора целковых, а меди на сорок копеек.

Темная осенняя ночь. В лагерь прибывают с сумками и сундуками большие партии новобранцев. Я не сплю, сижу у палатки, вздрагивая озябшим телом. Тучей темной то двигается, то встает людская масса; чавкает грязь под ее усталыми ногами. Сегодня они будут жаться, щелкая зубами, в мокрых негреющих палатках.

А завтра на зорьке понесут они свою одежду туда, за палатки, под большие березы с облетавшими от холода листьями. Там их так же, как и меня, обманет торговец с трубкой в зубах. Он сунет им в руки по несколько копеек за пиджак и сапоги, толкнув в спину, и крикнет: «Идите скорей! Разбивка началась по ротам, кличут вас...»

Утром труба горниста сыграла «подъем». Нас выстроили в длинную шеренгу, и началась разбивка. Новобранцы, точно напуганные овцы, жмутся друг к

другу и неприветливо, исподлобья посматривают на проходящих офицеров. Мы с Дроздовым стоим посредине шеренги. Нам хочется обоим попасть в одну роту и в один взвод.

Молодой, чисто выбритый офицер высокого роста, с мутными белыми глазами, чертит мне мелом на рубашке две большие цифры «четыре» и «три», а Дроздову — «два» и «четыре».

— Нас бы вместе, ваше благородие,—вежливо сказал Дроздов.

— Нет, не «ваше благородие»,—отвечал с усмешкой широкоплечий офицер с седеющей черной бородкой,—а «ваше высокоблагородие». Надо прежде выучиться титуловать, а потом уж с просьбой обращаться... Что, уже успел пропить сапоги,—взглянув на меня, сказал он.—Все спустил, молокосос, в одной рубашке остался!

— Вот она начинается, служба царская,—тихо сказал Дроздов.

— Какие строгие, видать, офицера эти,—проговорил новобранец в пиджаке, порыжевшем на солнце.

В первый же день, при распределении среди новобранцев нарядов, наш отделенный командир, высокий скуластый мужчина с большими прокопченными, точно лошадиными зубами, протянув по направлению ко мне руку, сказал, улыбаясь:

— А у тебя, Гаврилов, сапог нету,—пойдешь поутру таскать «параши».

Что это за «параши», я не знаю, и куда их надо будет таскать, тоже не представляю себе. «Узнаю, потом спрошу»,—думаю я. Однако любопытство брало свое,—хотелось поскорее узнать, что это за «параша» такая. У нас в деревне соседку девку зовут Парашей. А здесь эту «парашу» таскать придется куда-то.

— Ты не знаешь, какая это такая «параша»?—спросил я белокурого парня, в раздумьи чертившего пальцем полотно палатки.

— Нет... мий знает... Латвия...—трясет он отрицательно головой.

«Должно быть, не наш, не русский, говорить не умеет,—подумал я.—Но почему, не знаю, почему отделенный посылает меня, разутого. Наверно, там дело такое, где надо попроворней бегать...»

Утром, когда нагруженная новобранцами палатка еще храпела, меня разбудил голос, назвавший мою фамилию. Вскочив и протирая сонные глаза, я увидел человека с раздвоенной на две половинки светлой бородкой, стоящего посредине палатки.

— Ты назначен «параши» таскать?—сказал он.—Идем за мной.

Он подвел меня к большой канаве, огороженной новым желтеющим тесом, у которой стояли три солдата.

— Вот этот квас,—показал солдат в канаву рукой,—весь перетаскайте ушатами туда, за палатки. Там увидите, куда выливать.

Пахнет из канавы тяжелым едким запахом, щиплющим глаза.

Нехотя беремся за осклизлые вонючие ведра и, робко черпая, выливаем из них в большие деревянные ушаты.

— Наливайте посмелее! Чего жметесь, как господа какие. Будете чикаться, так весь день вам придется носить мурцовку эту,—сказал нам дежурный солдат и ушел, размахивая руками.

Круглолицый, с щетинистой черной бородой, спросил меня, выливая из ведра в ушат желтую жижу:

— За што тебя прислали сюда?

— Разувши я, видишь, потому и послали. А нешто вас за какую провинность сюда прислали?

— Меня за словесность сюда часто гоняют. Не ответишь титул царев, вот и иди, таскай «параши» вонючие,—морщась, ответил он.

Таская одни за другими тяжелые деревянные ушаты, мысленно проклинаю я того человека, который украл в казармах мои сапоги и тем самым заставил меня исполнять тяжелую нехорошую работу...

Облитые едкой жидкостью дорожки разъедали мне потертые, в болячках, ноги, а тяжелая перекладина, с подвешенным посредине ушатом, больно давила костлявую ключицу. К тяжелой физической работе я привычен с детства. Но эта работа—таскание тяжелых вонючих «параш»—как-то особенно тяжела и противна.

«Да разве я виноват, что я босой, что у меня украли сапоги, и теперь, пока не выдадут казенные, придется много времени носить противные «параши», потому что разувши нельзя ходить на строевые занятия?!»

Обидно до слез делается мне. Не по нраву становится служба царская.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

После обеда отделенный командир Зуев крикнул, входя в нашу палатку:

— Садись живо на словесное занятие!

В палатке было около двадцати пар глаз, глядевших на вошедшего начальника. Выкликнув по списку фамилию каждого сидевшего, он заложил назад руки и стал ходить взад и вперед по вытоптанному земляному полу палатки, то-и-дело прикусывая большими прокопченными зубами тонкую нижнюю губу.

— Ну-ка, как тебя, крайнего-то? Ну, ты... в веснушках... Рубахин, што ли? Встань! Чего сидишь-то? Раз спрашивают, то должен встать и опустить руки по швам, вот так,—похлопал он по ногам широкими ладонями вытянутых рук.—Ну, хорошо, Рубахин. Так...

Рубахин, опустив голову, глядел на начищенные ваксой, блестящие сапоги отделенного.

— Рубахин!—коротко, точно проглатывая слово, крикнул Зуев.—Чего ты переминаешься с ноги на ногу. Как встал, так и стой, как вкопанный, не шевелись. Будь гвардейцем, а не бабой!

В палатке тишина. Слышно ровное дыхание новобранцев, изредка прерываемое кашлем да тихим шорохом сапог отделенного.

— Ну, скажи ты мне, Рубахин, что такое солдат?

Рубахин растерянно жмется, поднося ко рту усеянную веснушками руку, и нерешительно отвечает:

— Солдат—человек, который служит царю,—сказал Рубахин.

— Слушайте! Выясню я для всех, а кто не запомнит, того завтра «параши» таскать назначу.

Он остановился посреди палатки. Поднимая руку, объясняет громко:

— Солдат есть верный слуга царю и отечеству, защитник его от врагов внешних и внутренних. Поняли? Ве-ерный слуга царю и отечеству и защитник его от врагов внешних и внутренних!.. Теперь скажи-ка ты нам, вот ты, нос-то луковицей, Сенюшкин, што ли!

Сенюшкин быстро встал, вытянул руки, точно собрался поймать на земле петуха или курицу.

— Скажи-ка ты нам, какой ты будешь части?

— Из крестьян буду,—бойко отвечает Сенюшкин.

— Ну, замолол, не подумавши. Какого ты взвода, какой роты будешь, я тебя спрашиваю. А тебя, Рубахин, кто посадил?

— Я сам сел,—отвечает, сидя, Рубахин.

— Я знаю, что ты сам сел, а не мамка тебя усадила. Без разрешения отделенного командира нельзя садиться. Ну, Сенюшкин, отвечай, какой ты части?.. Эх, солдат, не знаешь, в какой части ты служишь!

У Сенюшкина разрумянились щеки,—хоть убей, не скажет, в какой части служит он. «Как ни скажи, все не угодишь, не так скажешь»,—думает Сенюшкин, пошевеливая непослушными руками.

— Ну, ладно, я сам разъясню вам. Слушайте, запомните, какой вы части: лейб-гвардии Егерского полка, четвертой роты, третьего взвода и первого отделения. Ну-ка, повтори, Сенюшкин!

— Мудрено очень, не перескажешь всего,—одергивая рубашку, отвечает Сенюшкин.

— Ну, скажи, а кто у тебя отделенный командир будет?

— Ты, небось,—покосясь, отвечает Сенюшкин.

— Я-то—я, конечно, но фамилия у меня есть тоже. Фамилия моя Зуев, а отвечать по всем правилам надо: «отделенный командир, господин Зуев». Поняли? И так дальше, вплоть до фельдфебеля роты «господином» титулуют... А ты, Сенюшкин, не женат еще, а? Говори!

Сенюшкин смутился от неожиданного вопроса отделенного командира; по его разрумянившемуся лицу пробежала боязливая улыбка. Наклонив голову, он начал одергивать синюю рубашку, подпоясанную широким, в четверть, ремнем. А Зуев, закусив нижнюю губу, продолжал ходить взад и вперед по палатке. Его самого, старого солдата, несколько месяцев как мобилизовали из Калужской губернии. И теперь,

шагая по палатке, с заложенными руками назад, он, морща лоб, думал о жене Дарье в широком цветном сарафане и о трех ребятишках, ползающих по полу душной избы. Он еще от жены ни одного письма не получил, говорил он нам вечером, лежа на койке, хотя сам уж написал ей два. И спрашивая, есть ли жена у новобранца Сенюшкина, он думал о своей жене. А когда вспотевший от мудреных вопросов Сенюшкин сказал ему, что жены у него в деревне не осталось и что он только «так» гулял с девками по вечерам, Зуев рассердился на него и спросил снова:

— Скажи, кто такие враги внешние и внутренние? Ну, отвечай поживее!

— Враги внутренние,—начал несвязно Сенюшкин,—которые обижают, скажем, народ невинный.

— Какой народ? Вот, если я тебя обижать буду, я тоже тогда врагом внутренним буду тебе... а?..

— Ежели понапрасну меня ударишь, то врагом внутренним тоже называться станешь,—ответил уверенно Сенюшкин.

— О-о-о, погоди, брат,—улыбаясь во весь рот, сказал Зуев.—Подожди, как я тебе вливать буду, и врагом меня внутренним не имеешь полного права называть... Враг внутренний есть тот, кто нападает на царя или правительство изнутри, значит, в России самой. А внешний враг считается тот, кто идет из-за границы, ну, скажем, немцы с австрийцами теперь идут на нас. Скажи, что такое присяга, которая вам скоро будет?

— Присяга... присяга... это не слыхал я. Присягал, когда...

— Ничего вы не понимаете по военной части, что ни спроси, ничего как надо не знаете. У меня чтобы к следующему разу заучить, а кто знать не будет,

тот из нарядов не будет выходить. А ежели командир роты вас спросит, тогда красней за вас. Зубы чистить надо. Смеяться с вами не стану. Присягу каждый солдат знать на зубок должен, без нее солдатом нельзя называться—самое главное... Слушайте, запомните: «присяга—это есть клятва перед крестом и евангелием святым, что ты обещаешься царю служить верой и правдой, защищать его, не щадя своего живота, от врагов внешних и внутренних». Вот что значит присяга! Каждый солдат должен заучить ее твердо. Морду расшибу в кровь, кто мне эдак завтра на занятии не ответит. Выговоры от ротного получать за каждого дурака не стану. Зубы порасчищу... а солдатами образцовыми в моем отделении будете... выучу! Будете у меня службу военную знать на зубок... Разойдись! Будет, позанимались.

Прошло три недели нашей службы в лагере, и нам выдали обмундирование. Мне достался изъеденный молью мундир из черного сукна. Когда, обрадовавшись, стал надевать его, он оказался очень короток и тесен, с талией под грудь. А круглая, без козырька, с красным кантом фуражка совершенно не лезла на мою стриженую голову.

Когда я заявил об этом своему отделенному Зуеву, от ответил, закусив губу:

— Потяни, раздастся. Ишь, голова с овин выросла. Плохо с такой головой.

Во время строевых занятий, при поворотах кругом, налево, направо, фуражка у меня свалилась с головы и, подгоняемая ветром, далеко покатилась по ровному плацу. Посмотрев на отделенного, бросаюсь ее догонять.

— Строй—святое место, а ты бежишь вон из строя за своей фуражкой! Баба худая, на голове фуражки не

удержит,—и отделенный больно ударил меня по лицу.— Вон ротный командир ходит, а ты из строя бежишь.

Обидой и болью закружилась голова, загорелось лицо.

— За что вы меня бьете, господин отделенный? Не в меру мне картуз? Я вам говорил, а вы не обменили, а теперь бьете.

— Что, много знать стал, разговаривать начиннаешь, сволота несчастная?!.

Я, ученый, отворачиваюсь, загораживаю лицо руками от жестких кулаков отделенного. Ему это еще больше не понравилось. Войдя в ярость, тычет мне кулаком в бока, в спину, приговаривая поучительно:

— Что, не нравится?.. Отворачиваться?.. Не даваться?.. Не шевелиться у меня! Строй—святое место! Смирно! Опусти руки по швам!

Солдаты стояли—кто посмеивался, а кто вздыхал в ожидании того же.

Плакать в строю при товарищах стыдно. «Разве убежать, скрыться куда-нибудь,—путается мысль в разгоряченной голове.—А куда бежать? В городе найдут, в тюрьму посадят. Судить за побег будут. Убежал бы в лес со стыда, но леса близко не видно...»

— Ну как? Больше не будешь разговаривать, огрызаться?—поправляя шинель, спрашивает отделенный.—Пойди, подними фуражку, да в строй становись. Рано уж больно огрызаться-то начал.

«В гвардии служба-то—прямо малина,—завидовали, прощаясь со мной, земляки—Егорка с Сёмкой.—А снаряжают как, одежду красивую дадут. С лентами, кистями разными. Начальники, должно быть, хорошие там. А ежели бить будут ни за что, царь рядом, пожалиться можно ему. Харчами там, наверно, хорошими кормят».

Так рассуждали нехитрые земляки о моей счастливой службе в гвардии в Петербурге. «Когда одежду красивую выдадут тебе, Мишка, то снимись в ней на карточку и пошли отцу в деревню,—советовал мне Егорка.—Отец твой глянет и обрадуется. Эва,—скажет,—мой Мишка куда попал! Самого царя охраняет от жуликов разных! До чего дослужился... И одежду ему там дали красивше генеральской».

Нет, не угадал ты, Егорка, ничего-то здесь хорошего в гвардии нет. А если сняться в этой одежде, в которую меня сейчас нарядили, на пужало конопляное буду похож я в коротком, по пояс, мундире с узкой талией и в круглой, без козырька, фуражке, сидящей на затылке, как у арестанта. Опухла бы, плакавши, мать, как увидела бы на карточке нескладную одежду на моих плечах и закрывшийся подбитый глаз. «Какой ты несчастный, Мишка,—скажет она в слезах.— Какой ты смиренник рос у нас дома, и за что там, в гвардии, так шибко попадает тебе?»

Утром из второй роты зашел ко мне Дроздов. Я не узнал его. Голова его обмотана белым бинтом, а из-под бинта пушистыми розовыми бакенбардами виднеется вата. А нос давно ли был тупой, а теперь заострился, как у мертвеца, и маленькие, без очков, глаза кажутся мне колкими и злыми.

— Что с тобой случилось?—удивленно спрашиваю я.

— Был в околотке. Фельдфебель, сволочь, ударил по уху и перебил перепонку. Теперь слышу одним ухом, а из другого течет.

— За что же фельдфебель тронул тебя?

— Ряды вздваивать не научусь, сбиваюсь все. А фельдфебель толкнул меня. Я не вытерпел, сказал что-то. А он ладонью по уху, вот и перешиб перепонку. И очки разбил мои. Я на фронт просился—не

отправляют. Еще подучить собираются. А без очков-то плохо, ни черта не вижу. Еле сдержался: винтовка в руках была, на штык хотел посадить. Ни за что избил, фельдфебельская образина! Ох, и сволочь! Запороть его когда-нибудь под горячую руку... А ты что такой?

— Мне тоже отделенный по морде и под бока насовал. Глаз, видишь, синий, а бока болят—дышать больно, левый в особенности, вздохнуть невозможно,— рассказываю я.—Ведь бьют-то совсем ни за что. Фуражку, гляди, какую дали, на затылок ведь не лезет, мала, в строю свалилась и покатилась по ветру. Я было за ней бежать, а отделенный, злой солдат, строгий, и давай меня поливать. «Строй—святое место, а ты бежишь?»—закричал он. А я не знал, думал—можно: надо же фуражку поднять...

— Ну, чорт с ним! Зато у них и лычки на плечах, что бьют молодых солдат хорошо,—перебил меня Дроздов.—Вчера из Семеновского полка три роты на фронт погнали, молодежь все... Ладно, Гаврилов, к зиме и мы с тобой туда попадем, «постоим за царя-батюшку»,—улыбнулся он.—А как, книжку читаешь?

— Сюда вот под березы хожу, когда время бывает. Раз пятьдесят, наверно, прочитал уже, наизусть всю выучил.

— А передать у вас во взводе некому? Нет таких людей крепких?

— Некому, нет таких. Здорово там достается всем: царю и богу, и попам длинноволосым.

— Как некому, говоришь?—смеется Дроздов.—А отделенному своему дай, пусть почитает. Ведь интересная книжка?! Чего же бояться,—шутит он.

Горнист заиграл на обед в начищенный медный рожок со стальным пронзительным голосом.

— Ну, будь здоров,—подавая мне руку, сказал Дроздов.—В Петербурге, в казармах увидимся. Пообедать пойти надо. Жрать очень хочется.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Скучные осенние дни. По утрам начинаются заморозки. Жизнь становится еще хуже—неласковая. Наш взвод с винтовками марширует по грязному плацу на строевых занятиях. Зябнут ноги. Тяжелую винтовку не держат холодные руки. Наш взводный командир Дубов (запасный солдат Семеновского полка), с выпяченной грудью и толстыми большими губами, из «жалости» к нам, продрогшим от дождя и холода, решил погреть:

— Бегом! Вот я сейчас подогрею вас малость.

— Ну, начал, чорт!—защептали бегущие ряды,—теперь замучает до смерти.

— Правое плечо вперед, бегом, ар-рш... Ать! Два... ать!..

И мы, точно молодые ненаезженные лошади, прижав согнутые локти к груди, описываем по грязному плацу один за одним большие огурцообразные круги.

От долгой беготни сохнет в горле, тяжело дышать, щемит разгоряченную грудь. Идет пар от бегущих рядов, как от загнанных лошадей. Над головами беспорядочно болтаются винтовки, позвякивая одна о другую острыми штыками.

А взводный, точно журавль, с выпуклой грудью, ворочается на месте в центре круга и самодовольно покрикивает начальническим голосом:

— Ать!.. Два... Три... Ать!.. Два... Три... Тверже винтовки! Головы выше!..

Не облегчают порывистое дыхание командирские крики; все чаще скрежещут, касаясь друг друга, стальные штыки.

— Ать!..—останавливается разрумянившийся взводный.

Впереди упал лицом в перетертую грязь обессилевший солдат. Винтовка из опустившихся рук попала острым штыком в щеку бежавшему позади, упал и он с разорванной щекой, и вмиг образовалась куча потных, тяжело дышавших тел.

Остальные сами остановились в беспорядке, высунув языки из пересохших ртов.

Мокрые от пота, снова построились в отделения и тихо пошли поредевшими рядами в холодные, неприветливые палатки с колкими соломенными нарами.

На шинелях по-четверо понесли в околоток двоих помятых, с окровавленными лицами. У одного распорота щека на две половинки. Он держится разгоряченной рукой за голову. У другого проколото горло острием штыка, и кровь бежит изо рта темной струйкой на шинель, потертую на службе, а круглые, с красными кантами фуражки лежат на груди потными околышками кверху, с черной казенной печатью!

Стынет разгоряченное тело в холодной, не греющей палатке.

Под нарами спокойно стоят сундучки и корзинки с маленькими замочками, оберегающими солдатское добро.

Ни за что не хочется браться, так и стоял бы, засунув глубоко руки в защитную шинель. В палатку по-одному и по-двое заходят усталые солдаты; берут из-под голов масляные тряпки и трут ими намокшие винтовки, чтобы не села ржавчина на полированные части.

— Скоро поедем в казармы, наверно, холода начались,—сказал рябой длинноликий солдат, заглядывая одним глазом в дуло винтовки.

— На фронт нас скоро отправят, за крестами георгиевскими!—отвечает другой, кусая корку черного хлеба.—Храбрым дают кресты—кто на штык лезет, не боится. У которого крест висит на груди, тому сам генерал обязан честь отдавать, да награду за него дают денежную. Вот Кузьма Крючков денежки-то, небось, огребает, у него восемь георгиевских, четыре золотых, и генералы ему во фронт становятся. Тридцать немцев, говорят, один сразу зарубил. Ох, и ловкие эти казаки! С малых лет приучают их к военной службе. Не то, что мы—простого ружья не видали за всю жизнь.

— У немцев штыки-то пилами зубчатыми, не как у нас—трехгранные,—задумчиво говорит рябой, повертывая на коленях винтовку.—Немчура проклятая! Додумались же таких штыков понаделать, черти неправославные! Таким, брат, штыком как кольнешь в брюхо, так кишки и вытащишь. А страшно все-таки—боюсь я. Пуля попадет еще издалека—ничего, а на пилу такую лезть боязно. Да у немцев и в солдаты-то меньше трех аршин не берут. Там крупный, брат, народ, не как у нас мелюзга в пехоте: от полутора аршин забирают; какой из него солдат—дай ему прикладом в грудь—повалится. Оттого и отступают все наши войска: набрали карликов, нешто победишь с такими! С бабами им воевать только, да и то, какая побольше—шею оттянет за первый сорт. В нашей деревне Матрена баба есть; не устоит перед ней ни один мужик: как какому даст тумака, так с ног летит и летит. Здорова баба! А ноги во-о!—смерил он с пол-аршина руками,—как бревна какие, белые да толстые.

— Вот тебе бабу такую бы,—взял бы, не отказался?—смеется солдат, доедая корку.

— А что думаешь, откажусь, что ли? С такой бабой, брат, не пропадешь никогда, куда хошь годится: ляжки толстые—значит, и здоровья много. Хороша, не озябнешь с такой! Вот нам на палатку такую, ловко было бы, а то плохо без женского сословия... замерзнешь...

Горнист заиграл на поверку. Все побросали, у кого что было в руках, и наскоро начали надевать шинели и фуражки.

В две длинные шеренги строится рота, толкая плечами друг друга. Фельдфебель круглоликий, с круто поставленными черными усами, становится с правого фланга и командует сильным голосом в тишине холодного вечера:

— Рота-а-а, смирно!!.. На молитву... Фуражки долой!

Вмиг обнажаются сотни послушных голов, и Дубов запевает хриплым голосом, а за ним вся рота:

Отче на-а-аш, и-иже еси на не-бе-си...

Дальше еще поем несколько молитв с обнаженными головами: «Спаси господи», «Достойную», и потом фельдфебель командует:

— Накройсь... Запевай!..

Бо-о-же-е, ца-а-ря храни!..

И на последних словах—«царь православный»—отделенные и взводные, разинув широко рты, с такой неестественной силой стараются перекричать друг друга, что даже багровеют их лица, а на лбу толстыми веревками надуваются синие жилы...

После поверки трое тянем соломенный жребий, кому в середине ложиться, на хорошее место. Сегодня я несчастливый: мне достается с краю.

Темная ночь. Холодный ветер. Не греет старая шинель, изъеденная молью. Зябнет остывшее тело.

«Встану, пробегу подальше,—сказал я себе,—может быть, согреюсь, засну под утро».

Накидываю шинель на плечи, быстро бегу с раздувающимися полами, обгоняя редкие березы. А дорожка ведет к офицерским маленьким домикам с узорчатыми резными окошками, обсаженным акацией и цветами, завядшими от осеннего мороза.

Взглянул бы в это время на меня человек, не знающий солдатской службы, покачал бы головой и сказал, жалеючи: «Куда бежит солдат в такое позднее время? С ума сошел человек, на березу впотьмах наскочит, расшибет себе голову...»

Пробегая мимо домика с открытыми окнами, слышу игру на пианино. В лесу тихо, лишь сверху гуляет ветерок, покачивая старые березы. И звуки, которые в первый раз в жизни я услыхал, очень понравились мне. Дрожа всем телом, переступая с ноги на ногу, прижавшись к березе, слушаю непонятные звуки. «А как играют на ней? Растягивают как гармонию или дуют как в трубу солдатскую?»—спрашиваю я себя. А когда перестала играть музыка, из дома послышались голоса:

— Тонечка, Тонечка, милая, я хочу с тобой танцовать... Топни, топни ножкой, моя деточка!

— Господин генерал!..—кричит визгливый женский голос,—ваше превосходительство, я прошу вас со мной. Поручик, господин поручик... Капитан, пожалуйста!

— Я переборщил... переборщил... Тонечка, душно мне... переборщил...

С испугом отбежал я от окна, когда увидел высунувшуюся с седым бобриком голову и золотые зигзагами погоны на генеральских плечах.

«Ведь это начальник первой гвардейской дивизии,— сказал я себе,—генерал-майор Чурыкин!»

В палатке так же холодно, жмусь к теплой широкой спине товарища, стараюсь укрыться вытертой шинелью, чтобы не осталось дырочки, и, сжавшись в комок, на рассвете засыпаю.

На другой день пришел приказ свыше:

«Выбираться из лагерей из Красного села в казармы в Петербург». Гудит под солдатскими ногами подмороженная земля, лопается первый осенний ледок в лужах и выбоинах. До Петербурга около тридцати верст. Гремят котелки, подвязанные к скатанной палатке. Переговариваются маленькие замочки, подвешенные к сундучкам с солдатским добром. Впереди на исправной серой, яблоками, кобыле едет командир роты, постегивая коротенькой плеточкой по новому сапогу с ярким голенищем. Разговаривать между собой не велено. Командир роты приказал петь под ногу песенку, которую он любил:

Свет-калину ломала,
Лом-а-ала, лома-ала-а...
Чубарики, чубчики, лома-ала...
На дорожку бросала,
Бросала, броса-ала-а...
Чубарики, чубчики, броса-ала...
В офицера попала,
Попала, попа-ала...
Чубарики, чубчики, попа-ала...

Так всю дорогу тянем любимую командирскую песенку. Румянится от удовольствия безусое лицо ротного

штабс-капитана Белоногова. Повертывается то задом, то передом под ним послушная серая кобыла. Замшевая перчатка придерживает подвешенную через плечо шашку с начищенным наконечником.

Хочется пить, но в походе не полагается.

Хочется отдохнуть, но нет приказа командирского.

Хочется есть, но рот занят «чубариками, чубчиками».

В казармах два дня мыли полы и окна. Набивали матрацы отделенным и взводным яровой мягкой соломой. Через неделю свили и себе колкие маты на досчатые нары.

Во время мобилизации нам не делали медицинского освидетельствования. В лагерях отделенный командир наш говорил: «В казармах вас всех ослушает доктор; больных в отпуск пошлют, а которые не годятся в гвардию, в пехоту служить отправят».

В первую ночь спанья на колких матах приснился мне радостный сон. Подхожу будто бы к черному, в очках, доктору в белом халате.

«Твоя фамилия Гаврилов?»

«Да, Гаврилов»,—жмусь я перед доктором.

«У тебя, может быть, что-нибудь болит? Не стесняйся, заявляй мне».

«У меня шибко болит правый бок, с возу на девятом году упал я».

Он взял со стола серебряную трубочку и приложил мне к больному боку.

«Да, негоден он: сердцебиение у него,—обратился он к писарю в новой складно сшитой гимнастерке.— Белый билет напишите ему».

Писарь долго писал, выводя каждую букву, а я нетерпеливо ждал около стола, придерживаясь рукой за больное сердце. А когда белый билет был готов, писарь, подавая его мне, сказал завистливо:

«На, поезжай домой, по чистой отпустили тебя, счастлив ты».

Войдя в казарму, я увидел отделенного Зуева, пьющего из стакана крепкий чай в углу, за досчатым столиком.

«Довольно, помудровали надо мною, да будет. Поколотили ни за что,—потряхивая высоко над головой билетом, говорю я ему,—домой уезжаю я».

Отделенный молчит в бессилии перед белым билетом...

Не ждут, совсем не ждут меня мои старики в деревне, а я заявляюсь: «Мое почтение». Обрадуются. «Буду работать, как и работал»,—думаю я, поглядывая на белый билет...

На этом оборвался мой счастливый сон.

Высоко у серого потолка висит электрическая лампочка, усиженная мухами. Взглянув на пустые руки, в которых не было белого билета, я догадался, что это сон обманул меня. Еще жестче сделались под боком маты, скрученные из ржаной соломы. В углу, на железной койке, храпел отделенный, заложив под голову руки с засученными рукавами. Все та же скучная казарма с большими окнами. Все то же строгое начальство, от которого никуда не уйдешь.

Перевертываюсь ничком, чтобы никто не видел. Под головой лежит холщевая сумка, привезенная из деревни; она становится мокрая от обиды, которую трудно перенести.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Утром, напившись чаю с душистым хлебом с поджаренной коркой, отделенный усадил нас на словесность. Теперь не ходит он взад и вперед с заложенными

назад руками, как в лагерях, а сидит в углу, за досчатым столом, на широкой казенной табуретке, выкрашенной синей краской, с обтертыми ножками.

— Ну-ка, Гаврилов, объясни-ка, ты нам, как надо титуловать командира первой гвардейской дивизии?

Я встал и опустил руки, как полагается. По словесности я был не из последних в отделении. Титулы все заучил наизусть, хотел было отвечать, но отделенный перебил сердито:

— Что все вставать как следует не научился!.. Садись... Встать... Садись... Встать...—говорил он тихо и коротко.—Ну, живей, небось, будь солдатом. Садись... встать... Садись... встать...

И это дергание продолжалось несколько минут. Я, точно на пружинах, машинально вскакиваю и сажусь. Под конец я до того измучился и растерялся, что отделенный кричит «встать»—я сажусь, и, наоборот, при слове «садись»—встаю с вытянутыми по швам руками. От этой нечеловеческой муштровки я позабыл заданный мне вопрос: голова шла кругом, тошнота подкатилась к горлу.

— Ну-ка, как дивизионного?—нехотя протянул он.

— Его высокопревосходительство, свиты его величества генерал-майор Чурыкин, господин отделенный!

— Молодец, хорошо отвечаешь, только погромче надо.

— Рад стараться, господин отделенный!

Эти последние слова я отчеканил громко, собрался с силой, чтобы отвязаться и сесть отдохнуть.

— Садись,—спокойно сказал он, выбирая глазами другого.

— Ну-ка, Аршинов, что за слово «лейб»? Скажи-ка ты нам погромче.

— Лейб...—повторил, заминаясь, Аршинов.

— Да, лейб, вот ты лейб-гвардейцем называешься, а что это за слово «лейб»?

— Лейб—это лев, здоровый большой солдат, в гвардию которого берут, господин отделенный,—ответил смело Аршинов.

— Дурак! Скотина безрогая, все еще не знаешь, что такое «лейб»! Разве я не объяснял вам этого?

— Никак нет, господин отделенный,—сказал кто-то из сидящих.

— Ага! Ну слушайте, разъясню. «Лейб»—это ближайший защитник государя императора. Поняли? «Ближайший защитник» государя нашего... Ну-ка, скажи опять ты, Аршинов, шеф кто в нашем полку?

Пошевеливаются опущенные по швам, непослушные руки Аршинова. Не выговаривает неповоротливый язык мудреные, неслышанные слова. Занозами засели в мозгу «шефы» да «лейбы» разные. До слез, до пота думает Аршинов, что означают эти слова, но—хоть убей—не выговоришь, как полагается. А господин отделенный опять свое:

— Что ты уставился быком-то? Отвечай, кто наш шеф?

— Ты другого-то спроси. Что ты меня-то все одного? Дай подумаю, потом скажу.

Кто-то из сидящих шепнул: «царь».

— Царь наш,—радостно ответил Аршинов.

— Что же, его так «царем» и называют, больше никак, и тут весь титул его?

Зуев встал, подвинул ближе к стене табуретку и, улыбаясь, подошел к вспотевшему Аршинову.

— А жену-то свою, не позабыл, как зовут? Скажи нам, а?

— Я не женатый еще,—смотря в пол, ответил Аршинов.

— Ну, а с кем ты любовь-то крутил? Ведь была у тебя в деревне какая-нибудь зазноба? Ну, сказывай, уж этого-то не знаешь? Не ответишь, зубы почистить придется тебе.

Улыбается отделенный Зуев, посмеиваются и сидящие на словесности солдаты, улыбнулся и Аршинов, сделав на красных щеках маленькие ямочки.

— Марфуткой зовут,—застенчиво сказал он.

— А-а, Марфушей. Ну-ка, пойди-ка сюда.

Аршинов, все еще с ямочками на щеках, подошел к круглой печке, обитой железом, с отворенной дверкой.

— За то, что ты ничего не понимаешь по словесности, ходи вот так,—присев на корточки, указал Зуев.—Это у нас по-солдатски называется «гусиным шагом». Ходи вот таким манером от печки вон до той стены, а когда будешь подходить к печке, будешь кричать в эту дверку в трубу: «Марфуша, милая, помоги, пропадаю! Служба не везет, не умею титуловать государя». Вот так ходи и кричи, пока я не остановлю тебя. По два раза кричи в трубу. Понял?

Аршинов со стыдом опустился на корточки и пошел от печки к стене, покачивая задом, как старая отяжелевшая гусыня. Подходя обратно к печке, он кричит тихо в растворенную дверку:

— Марфуша, милая, помоги, пропадаю: служба не везет, не умею титуловать государя...

— Шибче кричи, а не себе под нос,—чтобы все слышали.

— Марфуша, милая, помоги, пропадаю! Служба не везет, не умею титуловать государя!—захлебываясь слезами обиды, кричит Аршинов.

Смеется отделенный довольным смехом, скаля большие прокопченные зубы. Смеются солдаты, положив руки на колени, над слезами Аршинова.

— Ну-ка, Лэпнис,—обращается Зуев к круглолицему латышу,—скажи-ка ты нам, в честь какого святого называется наша полковая церковь?

Лэпнис вскочил, как ужаленный, и неестественно выпятил свою и без того высокую грудь.

— Ми... мой церковь... моя не говорит...—трясет он стриженой головой.

— Что, латышская морда! Смеялся, а слова русского заучить не можешь. В честь какого святого наша полковая церковь, я сколько раз объяснял, а ты все не знаешь. На два часа под винтовку. Доложу по начальству. С полной выкладкой. Иначе вас не научишь по-русски говорить! На два часа после занятия. Выговоры за вас получать не буду. Ну-ка, Гаврилов, объясни им погромче.

В таких случаях я всегда выручал.

— В честь святого Мирона, господин отделенный!

— Молодец, хорошо отвечаешь, садись.

— Рад стараться, господин отделенный!

— Марфуша, милая, помоги, пропадаю: служба не везет, не умею титуловать государя...

— По два раза под ряд кричи, да шибче, а то она далеко живет, не услышит,—обернувшись к Аршинову, кричит Зуев.—Голову-то, голову подальше в печку суй, слышнее ей будет.

— Марфуша, милая, помоги, пропадаю, служба не везет, не умею титуловать государя...

— Водовозов, скажи, для чего желоба-канавки на штыке нашем сделаны.

— Для стёка крови, господин отделенный,—подумавши, громко отвечал большеголовый Водовозов, поглядывая на пирамиду с винтовками.

— Дурак, балда!—не сдержался отделенный.—Не для стёка крови, а для прочности и облегчения.

— Ма-а-арфуша, мила-а-а-а, по... по...—заплакал навзрыд измученный Аршинов, ухватившись рукой за открытую дверцу.

— Чего ты нюни распустил... гвардеец... Аль замучился очень? Служба, брат, военная слезе не верит. Садись, будет,—смилостивился отделенный.

Аршинов долго не может встать и выпрямить онемевшие ноги.

Подполз он на четвереньках к нарам и ухватившись за приколоченную доску, так же ползком влез на них и ткнулся обиженным лицом в колкие маты.

Обед: на двоих котелок пересоленного гороха и полкотелка на пятерых гречневой каши, пахнущей дымом. А после обеда каждый справляет свои личные дела. Многие сидят на нарах, скучно поглядывая на большие казарменные окна с облупившейся краской. Некоторые с иглой в руках починяют казенную одежду.

Аршинов, все еще с красным от слез лицом, сидит на нарах, высунув язык, старательно выкладывает отцу и матери солдатское горе. А у стены напротив стоят «под ружьями» пятеро «провинившихся».

Лэпнис, немного повыше других, стоит посредине. Точно пять статуй, наряженных в солдатскую одежду. Стоят, не шевелясь ни одной частью тела. Только глаза, налитые обидой, закрываются часто и говорят укоряюще: «Поставили на два часа, а мы не виноваты...»

А начальство—отделенные и взводный—сидят напротив, в углу, за досчатым столиком, наливают из медного чайника крепкий чай. Глаза их то-и-дело поглядывают на стоящих под ружьем «провинившихся» солдат: как бы не опустилась онемевшая рука с

двенадцатифунтовой винтовкой, как бы не сдвинулся хоть на ноготок сапог с бетонного пола. Смотрят зорко глаза начальника. У Лэпниса, кроме винтовки, за плечами еще солдатский мешок с тремя десятифунтовыми кирпичами. Режут они, как ножами, широкие плечи круглыми тесемками.

«Постоишь два часа под винтовкой, с полной выкладкой,—сказал Лэпнису на словесности отделенный,— научишься по-русски говорить и узнаешь, в честь какого святого построена наша полковая церковь. Каждому солдату это необходимо знать».

А теперь Лэпнис, стоя под винтовкой, с тремя тяжелыми кирпичами, не спускает глаз с серой казарменной стены, ругает, видно, оставшихся в Латвии стариков, отца и мать, почему они сами не умеют говорить по-русски и не научили своего сына, который на военной службе несет за это тяжелые наказания.

— Гаврилов, поди-ка сюды!—крикнул отделенный.

Я бросил мундир и иголку.

— Чего же ты бабой худой явился ко мне. Если подходишь к начальнику без фуражки, то обязан руки держать по швам, а не болтать ими, как на гулянии с девками. Не забывай: ведь ты солдат!

Он достал из-под своей койки грязное белье и бросил мне под ноги.

— В прачечную ступай, почище выстирай. Мыло есть у тебя?

— Никак нет, господин отделенный!

— Какой же ты солдат—мыла не имеешь.

Он дал мне небольшой обмылок желтого мыла и указал рукой на стоящих под винтовкой солдат.

— Плохо выстираешь, тоже, в роде их, штык «сушить» будешь. Иди!

Я повернулся «кругом» по всем правилам и, щелкнув каблуками, было пошел, держа под мышкой белье.

— Отставить... С какой ноги пошел?..

— С правой, господин отделенный!

— А с какой надо?

— С левой, господин отделенный!

— Иди. Ать... два... ать... два... три... Подбери порчину-то подмышкой, баба худая!—командует он мне в спину.—Белье-то растеряешь до прачечной,—удавлю тогда!

Вернувшись из прачечной с сморщенными и прошмырыганными до крови руками, я увидал: у того места, где стояли пять солдат под ружьями, толпятся старые и молодые солдаты. Взглянув через плечи на пол, узнаю лежащего ничком Лэпниса. Винтовка его рядом валяется на полу, на спине сумка с тремя кирпичами, а под головой, на асфальтовом полу, лужа темной крови.

— Что это с ним?—спрашиваю я в стриженый затылок широкоплечего солдата.

— Не достоял до двух часов пяти минут, упал, а ртом ударился о нары и раскроил себе хлебалку. Члены онемели, и свалился. Многие не выдерживают. Вчера один упал, и винтовка в стекло отлетела, вышибла. С выкладкой трудно, не выстоишь.

— Чего любоваться? Клади его на нары, очнется,— подойдя, сказал взводный.

Сняв с Лэпниса сумку с кирпичами, положили его на нары лицом к потолку. Нос и губы его были сплюснуты, перемешаны, при дыхании во рту подымалась кровавыми пузырями слюна. С пола, из лужи еще свежей крови проходящий солдат сапогом жиганул под нары два белых зуба.

— Погляди-ка!—дернул меня за мундир Арщинов.

Он подвел меня, где стоял Лэпнис, и указал на пол рукой.

— Аж, пот сквозь подошвы прошел, пяти минут, бедняга, не достоял, побледнел, как сноп свалился.

Ноги Лэпниса в течение двух часов не сдвинулись с места, пот прошел сквозь подошвы и оставил на асфальте резко очерченных два потовых следа.

Случай с Лэпнисом произвел на меня тяжелое впечатление.

Ночью, при тусклом свете электрической лампочки, я не могу уснуть, ворочаясь с богу на бок, на жестких нарах.

Обвязанный Лэпнис лежит через шесть человек от меня.

Он то встает, то ложится, трогая прилипшие к разбитому месту бинты. А когда ненадолго засыпает, бредит непонятными словами на латышском языке.

«Скорее бы отправили на фронт,—думаю я.—В казармах жизнь не лучше лагерной. Что-то давно не шлют мне письма мои старики. Как живут они? Поглядеть бы хоть одним глазком в щелочку на их жизнь, послушать бы их слова родные, корявые. Поедут ли на фронт с нами отделенные и взводные наши? Там их «нечаянно» застрелить можно, так говорят люди, знающие фронтовую жизнь. Пулю и я, если придется, «удружу» своему отделенному. Для «хорошего» человека пули не жалко». Не спится, такие мысли лезут мне в голову.

В эту же бессонную ночь проходил я по дальнему коридору другого корпуса, освещенному редкими электрическими лампочками.

Немного открытая дверь комнаты командира роты заинтересовала меня. Командир роты, порядочно

сутуловатый человек с некрасивой, большой, гладко выбритой головой, в одном нижнем белье, но в начищенных сапогах со шпорами и в лихо заломленной на правую сторону фуражке, глядел в большое зеркало в старинной ореховой раме, приложив руку к козырьку, и спрашивал приготовляющего постель денщика:

— Васёк! Хохошо я честь могу отдавать, а?

Денщик, не глядя на командира, говорит в постель:

— Так точно, барин, хорошо.

— На то я и офицех гвахдии... Ты знаешь, Васёк, обо мне и Чухыкин хохошего мнения, пехвым офицехом в лейб-гвахдии Егехском полку считаюсь у него. Пехвым офицехом—понял?

— Спать, барин, пора,—ответил денщик, позевывая,—четвертый час уже, мне завтра вставать рано—белье, барин, надо ваше стирать.

— Чохт с ним, с бельем! Слушай, Васёк, меня и на фхронт Чухыкин, начальник дивизии, не отпустит. Молодежь, пхапохов отпхавит, а я—штабс-капитан. Ну-ка, Васёк, как твоего хотного командиха титулуют?

— Знаю, знаю, барин. Спать пора! Четыре скоро!

— Ну, говохи, говохи,—прижавшись спиной к резной раме, твердил командир.

— Его высокоблагородие штабс-капитан Белоногов, ваше высокоблагородие!

Командир быстро повернулся, растопырил руки и щелкнул шпорами.

— Дай-ка, Васёк, шашку мне. Почищена она, в похядке?

— На что она вам, барин? Спать ложитесь. Что вы?

— Двадцатого пахад должен быть. Чухыкин на пахаде будет. Не подкачать бы нам с тобой, Васёк.

Денщик нехотя снял со стены шашку; подавая ее командиру, говорит убедительно:

— Спать надо вам, барин. В одном нижнем белье— неудобно.

— Надень, надень, застегни, Васёк, пахад, будет, не подкачать бы! Чухыкин смотх пхоизводить будет.

Он снова повернулся к зеркалу, щелкая шпорами, болтая шашкой.

— Не по фохме одет я. Такого эффекта не получится. Но ничего. Ты мне, Васёк, командуй, а я буду бхать на кахаул. Пхедположим, ты командих пехвой гвахдейской дивизии, Васёк, Чухыкин, а я штабс-капитан Белоногов—командих тхетьей хоты—на смотху. Понял?

— Не надо, барин, я спать хочу.

— Ну, хохошо, хохошо, спи, Васёк. Я один, сам с собою пходелаю.

Ротный опустил по швам руки, стараясь грудь подать вперед, но так и оставался сутулым.

Денщик сидит на койке, повесив между ног отяжелевшую голову. А капитан картавя командовал:

— Я, Васёк, начинаю. Начальник дивизии едет. Хота-а. Смихно-о-о!.. На-а-а кха-а-ул!

Шатаясь, неловко вытащил он шашку из ножен и блеснул ею перед зеркалом.

— Отставить, ничего не вышло!—скомандовал он самому себе и бросил на пол лезвие шашки, через плечо, под нос дремавшему денщику.

Она зазвенела и испугала его.

— Барин, спать надо. Рассветет скоро!

— Да, да, Васёк, спать. Я устал.

Он упал на кровать; кровать загремела, офицерская фуражка свалилась на пол, к стене.

После этого я пошел немного уснуть и, отходя, видел, как денщик привычно принялся вытаскивать из-под командира шашку. Командир, лежа, то сжимал, то

разжимал ножницами свои точно женские ноги в начищенных сапогах, звеня шпорами. Денщик разул командира и, поставив под кровать сапоги, принялся чесать ему обросшие рыжей шерстью икры, кивая сонною головой.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Маршируют взводы и роты по большому казарменному двору, обставленному трехэтажными кирпичными корпусами. Похрустывает первый снежок под сотнями ног, обутых в казенные сапоги. В слуховых выбитых окнах треплется солдатское замороженное белье.

— Равняйся!.. Смирно!..—кричит взводный Дубов надоедливым голосом.

Сотня послушных голов повернулась в одну сторону и выровнялась в одну струнку, вдоль которой пошел взводный, оглядывая, туго ли затянуты ремни по шинелям. Он подпихивает под ремень два пальца и говорит привычно:

— Тебе наряд, слабо подпоясался. Тебе два вне очереди. Баба худая, разве так подпоясываются!

Во избежание нарядов и побоев я перетянул себя рюмкой, отчего больно бока и бедра. А когда взводный все же пытается воткнуть мне под ремень два сильных пальца, я надуваюсь на всякий случай.

— Ты не дуйся, не дуйся у меня! Все равно—захочу, так воткну, не надуешься... Наряд ему,—сказал он отделенному,—не умеет подпоясываться до сих пор.

— За что же наряд, господин взводный? Ведь мы же вдвоем с Грибковым запоясывались туго, бока даже больно,—тихо возмущался я.

— Что, разговаривать будешь? Много узнал?.. Зуев,—обратился он к отделенному,—Гаврилову еще

наряд, чтобы не разговаривал со взводным командиром, не пререкался.

От обиды закружилась земля под ногами. Смешались в глазах в одну кучу с солдатами отделенный и взводный. За слова: «За что... Я не виноват», «Воля ваша», «Делайте, что хотите», и так далее—мне попадало от строгих командиров не раз; но все же при обиде и придирке со стороны начальства они невольно сползали с моего неразговорчивого языка. Перебираются острой щетиной штыки, высоко поднимаются солдатские ноги, ударяя о мороженую землю.

— Ать... два... три...—командует взводный, размахивая руками в домашних варежках с одним пальцем.— Крепче ногу... Ножку крепче. Ать... два... ать... Выше головы!..

По двору идет командир роты, придерживая шашку замшевой перчаткой, расставляя ноги: носки вместе, пятки врозь. Взводный вытянулся на носки, как петух перед тем, как пропеть.

— Смир-рно! Равнение направо!

Прижимаются по швам руки, замедляется шаг, неестественно поворачиваются в сторону головы.

— Здохово, молодцы!—здоровается ротный, вяло подняв руку к козырьку.

— Здрав.... желам... ващ-сок-родь!—коротко отвечают солдаты.

Ушел командир неуклюжей походкой в казарменную дверь.

Зуев командует:

— Ать... два... три... Как отвечать командиру роты? Здорово, молодцы!

— Здрав... желам... ваш-сок-родь!

— Короче надо и громче... Здорово, молодцы!

— Здрав... желам... ващ-сок-родь!

— Здорово, молодцы!

— Здрав... желам... ваш-сок-родь!

— Как начальнику дивизии?.. Здорово, молодцы!

— Здрав... желам... ваш-сок-дикство!

— Здорово, молодцы!

— Здрав... желам... ваш-сок-дикство!

— Громче надо... Ать... два... три...

Намучив нас до поту и до боли в ногах, он остановил и скомандовал:

— Оправиться, отдохнуть и закурить можно.

Отдохнув немного, он снова командует:

— Смирно! Кругом!

Все повернулись, как один, щелкнув в такт каблуками, а поляк Василевский, с юным светлым пушком на красивых, мягких губах, повернулся не кругом, а направо, и глядит на подходящего к нему взводного виноватыми глазами.

— Чего глядишь, польская морда! До сих пор поворачиваться не научился!—гневно крикнул на него Дубов.—Сделай ему,—обратился он к рядом стоящему отделенному,—«солому и сено»! «Подзаймись»-ка с ним!

Отделенный сходил на конюшню, откуда вернулся с клоками сена и соломы в руках.

— Ну-ка, пане, давай ножку,—подходя к выведенному из строя Василевскому, сказал Зуев, улыбаясь.

Вынул из кармана принесенный для этой цели клубочек тонкого шпагата, привязал к правой ноге ниже колена пучок соломы, а к левой—сено.

— Так, пане, сейчас я с тобой «подзаймусь» малость,—разгибаясь, сказал отделенный.

— Вот слушай и запоминай,—поднял отделенный, грозясь, руку.—Буду командовать: «солома», значит, будешь поворачиваться направо, потому что она у тебя

привязана к правой ноге, а буду командовать: «сено», поворачивайся налево, потому что сено у тебя на левой ноге. Понял? Вшиско една,—насмешливо сказал Зуев по-польски, поглядывая на ноги Василевского, к которым привязаны сено и солома, и начал «подзаниматься», командуя:—«Сено»... «солома»... «Солома»... «сено»...

Так на посмешище «подзанимался» отделенный с раскрасневшимся Василевским. Перед концом занятий, измученный и задерганный, он вместо того, чтобы повернуться налево, вертелся кругом или вовсе стоял на месте, разводя руками, растерянно смотря на отделенного глазами, полными слез... Тогда рассерженный отделенный разбил ему в кровь нос и губы, надавал нарядов вне очереди и послал плачущего в казармы.

— Солому и сено не отвязывать, пока не ляжешь спать,—наказывал Зуев вслед уходившему.

В казарме, за стаканом чая, поглядывая на Василевского, он говорит ему:

— Выучу, выучу тебя, польская образина... Не хнычь, служба военная слезам не верит. Возьму тебя «в работу»—первым солдатом у меня в отделении будешь. Не таких пентюхов обламывал, и тебя обломаю,—приговаривает Зуев, повертывая двумя короткими пальцами горячий стакан.

А Василевский сидит на нарах, опустив низко голову, трет красное, в слезах, лицо жестким рукавом казенного мундира.

Переполненная солдатами казарма смеется над подвязанными к ногам «соломой» и «сеном» и над горькой участью солдата Василевского.

Все здесь чужое, незнакомое. И пожелтевшие стены, и оконные рамы с облупившейся краской—все,

кажется, смеется над Василевским. И румяный портрет царя со стены большого зала, куда солдат гоняют каждый день два раза на молитву, тоже как будто говорит ему поучительно: «Плохой ты солдат у меня, пан Василевский, не можешь повертываться «кругом», два наряда за это тебе вне очереди». И некому, и никому не нужно утереть слезы Василевскому, разъедающие невеселые, докрасна наплаканные глаза. Не обедал и не ужинал Василевский.

На следующее утро дежурный по роте рапортовал командиру роты, держа руку под козырек:

— На чердаке, на ремне винтовочном повесился солдат третьего взвода, ваше высокоблагородие! А в саквояже его оказался, ваше высокоблагородие, одноглавый орел, не похожий на наш, ваше высокоблагородие, и икона божией матери, тоже от нашей отменная, с сердечком каким-то, польская, говорят, ваше высокоблагородие! Больше происшествий никаких не случилось, ваше высокоблагородие!

Командир роты пожал плечами, пряча в зеленый воротник большую голову, ткнул пальцем себе на плечо и спросил, улыбаясь:

— Это чьи погоны? Погоны чьи?

— Штак-капитанские, ваше высокоблагородие!— громко ответил дежурный.

— А как титул мой?

— Штабс-капитан Белоногов, ваше высокоблагородие!

— Иди!

Дежурный лихо повернулся, щелкнул каблуками и пошел, отчеканивая шаги по асфальтовому полу казармы.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Темно за окнами на улице. Высоко у закоптелого потолка вьются вокруг тусклой лампочки серебряные моли.

— Гаврилов ты будешь?—разбудил меня голос дежурного по кухне с тесаком на поясе.—Четвертого бужу, все не тот да не тот. Иди скорее на кухню, картошку там чистить будешь.

Я пошел было умыться.

— Иди живей, так,—небось, не на гулянье идешь, не умывшись можно.

Кухня—полуподвальное сырое помещение с железными решетками в окнах. До обеда с двумя, как и я, «провинившимися» чистили картошку в большое ведро с помятыми боками. Когда закипели медные ярко начищенные баки, ударяя паром из ноздри крышки в низкий потолок, кашевар стал вынимать большие куски упревшей говядины.

С темна и до обеда мы очистили картошки десять ведер да принесли воды тридцать. Теперь вот хочется есть, и я непрочь принять участие в разборке мяса, которое лежит на большом столе, блестя белыми оголившимися костями.

Не удалось поглодать вкусных костей с жирными мозгами внутри: начальники, точно голодные волки, учуяв добычу, собрались к этому времени на кухню. Тут были отделенные и взводный, вплоть до фельдфебеля роты. Жадно едят мясо и гложут начальники кости, а остатки—жилы да брюшину—бросают кашевары в котел, разрезав на мелкие кусочки, и выходит из этого солдатская «крошенка».

Позднее приходят денщики с обливными котелочками за супом на «пробу» ротным командирам.

Скребет по дну бака большой черпак, выбирая говядину получше да супу «на пробу», сверху, пожирнее.

Подкрутив молодцевато сальные усы и оправив гимнастерки, уходят из кухни начальники, рыгая от вкусных обглоданных костей.

Возвращаюсь из кухни, обиженный и голодный. Меня зовет отделенный, сидящий в углу за столиком, на котором лежит письмо адресом кверху, с твердым отцовским нажимом. Первое долгожданное письмо от отца! Руки бессознательно тянутся за родимыми отцовскими строчками, для меня написанными.

— Нет... не смей брать! Ты мне попляши за него, тогда получишь.

— Плясать я не умею, а письмо это прислал мне отец из деревни. Ты, господин отделенный, отдай мне его.

— Нет, так не отдаем мы. Пляши, тебе говорят!—начинает сердиться Зуев.—Многие не умеют плясать, а за письмо, хоть и по-коровьи, а пляшут по пятнадцати минут. А ты что за штуковина такая? Много узнал, что ли? Али еще нарядов захотел? Получишь у меня!

— Все равно, не буду,—взволнованно говорю я и, повернувшись, пытаюсь уйти от отделенного.

— Куда!—крикнул он властным голосом.—Ты получил от меня разрешение уходить?!

— Никак нет.

— Плясать станешь?

— Нет.

— Не станешь. На вот тебе!—и разорвал на мелкие клочки отцовское письмо.

Сердце заныло от несносной обиды. Под ногами валяются клочки непрочитанного письма.

— Ну, ладно ж...—срывается с языка у меня.

Отделенный вскочил с табуретки, точно ущемленный, махая около моего носа кулаками.

— Ты грозишь... ты грозишь мне, негодяй! Много узнал, много узнал, что ли? Ты знаешь, с кем говоришь? Возьми под козырек, сволочь такая!—кричит он со злобой, скаля, как затравленная собака, свои большие лошадиные зубы.

Я стою перед ним, держу под козырек; рука дрожит и касается то щеки, то уха.

— Много узнал! Грозишь отделенному! Доложу ротному командиру,—брызжет он сквозь прокопченные зубы.

«На мученье прислал мне отец письмо: не писал бы лучше»,—думаю я. Попадают в рот соленые слезы, жалко разорванное письмо.

— Возьми веник, подмети почище! Два наряда тебе! Понял? Понимаешь?—спокойно говорит он.—Что у тебя язык-то отсох, что ли? Эва, как сволота осерчал и говорить не хочет! Хорошо, я с тобой «подзаймусь» еще.

Подметаю сухим обломанным веником мелкие клочки с дорогими разорванными буквами. «Ладно, на фронте отомщу»,—думаю я, успокаивая себя.

От слова «подзаймусь» по телу пробегает дрожь. Это значит—отделенный с одним будет заниматься, все внимание его будет сосредоточено на одном. Несколько десятков раз он повернет «кругом, направо, налево». Попробуй, не скажи ему титул царя и его бабушки. Не ответь, попробуй, какой святой есть в нашем полку и почему в гвардии офицеров титулуют всех «ваше высокоблагородие», а не просто «ваше благородие», как в пехоте. Без колотушек, слез, крови, нарядов вне очереди не отделается ни один солдат, какой бы он ни был ловкий.

Так идут дни осенние, скучные, неласковые. А ночью храпят солдаты, умученные службой. Спят спокойно отделенные командиры на железных койках, в сторонке от солдат бесчиновных. Чешет денщик «Васёк» ротному командиру лохматые ноги, положенные на подушку. Тыкается в ноги его отяжелевшая голова, закрываются неспавшие глаза. Хочется спать «Ваську», да барин просыпается. Не дает спать и мне отцовское разорванное письмо. При свете спички, в темном углу, из большого мусорного ящика выбрал мелкие, облитые супом клочки письма. И под утро, когда спящим снятся последние сны, выдвинув из-под нар маленький сундучок товарища, на крышке его из кусочков этих стараюсь собрать нечитанное письмо. Ползаю на коленях, подбираю липкие клочки друг к другу, точно шахматы на полированной доске. Вышел из письма клочок, похожий на собачье ухо. Принимаюсь читать. Десять слов оказалось понятных: «Пятрухой... картошки... кашель... тридцать... поясница... богу... денег...» и другие... По догадкам, из этих десяти слов прочитал я все письмо:

«Письмо я тебе, сынок, посылаю с Пятрухой Саниным. Картошки мы с матерью нарыли тридцать мер. На нас на двоих на зиму хватит. У матери от мешков разболелась поясница, и она на дню двадцать раз тебя вспоминает и все плачет. Мы молимся за тебя, Мишка, богу, чтобы бог сохранил тебя. Денег у нас, сынок, нету ни копейки, послать тебе нечего. Подожди, бог даст, продадим весной овцу (старицу) и тебя не забудем. Прощай, Мишка, дай бог тебе доброго здоровья. Слушайся командиров своих, не будь гордецом, и тебя начальство не обидит».

Клочки я бережно положил в сумку, в спичечную коробку, а на отца разобиделся, потому что он не

знает ничуть службы царской с ее строгим начальством и командирами.

Подвинув под нары сундучок, как был, вклиниваюсь боком уснуть среди товарищей, из которых один завидно храпит, а другой бормочет что-то непонятное, слегка подымая руку от обнаженного живота.

За окном, в далекой тьме, плавает месяц ясным переломанным пятаком. Изредка, нарушая тишину Рузовской набережной, звонко цокают копыта лошади дремлющего легкового.

По асфальтовому полу спящей казармы, тихо позванивая шпорами, проходят фельдфебель и ротный. Высокий фельдфебель низко нагибается к маленькому ротному и что-то шепчет ему на ухо. «Тревогу, наверно, устроить хотят,—думаю я.—С чего их такую рань подняло, ни свет ни заря?..»

Через шесть человек от меня лежит Лэпнис с забинтованной головой.

— Встать... делать... будет...—поднявшись, тихо говорит он, поглядывая на меня.

Я кивнул ему головой и, прищурив глаза, стараюсь уснуть. Но задремать не пришлось: казарменный шум разбудил меня. Солдаты торопливо куда-то одевались; некоторые рылись в сундуках и сумках.

— Куда это все собираются?

— А я почем знаю,—отвечает мне солдат, завязывая полотенцем сумку.—Чай, со мной ротный не советовался.

Вслушиваюсь—одни говорят: «Тревогу сделают, пересчитают всех, опять уложат». А другой рассказывает уверенно: «Царь в нашу казарму пришел, смотр нашей роте хочет сделать. Никогда он у нас не был,—поглядим теперича. Кто по форме одет и выправка хорошая, тому четвертной билет даст из своих царских

рук. Наш царь добрый, говорят, и сама царица хорошая».

Спустя полчаса стоим во дворе казарм, протираем непромытые глаза. Над головами светит месяц золотым полукругом. Похрустывает мягкий снежок под сотнями обутых наскоро солдатских ног.

— Семнадцатая маршевая рота... смирно!—раздался голос фельдфебеля.—Взводные, ведите взводы получать обмундирование.

От морозного ли ветра или от невидимого во тьме человека с громким голосом, который окрестил нас «семнадцатой маршевой ротой», по телу пробежали мурашки. Новые мысли запали в голову. А слово «маршевая» болезненно засело в мозгу. Фронта с первых дней военной службы ждал каждый солдат. Там хоть взводные с отделенными мытарить не будут: хорошие делаются, своей, русской, пули боятся. Взглянув в черное отверстие слухового окна, я почувствовал, как зашевелились волосы в корнях: будто бы удавленник Василевский сказал мне мертвыми выпуклыми глазами: «Прощайте, поклон родимому краю, Польше. Я остаюсь навсегда в Петербурге».

Нарядились в новое, немятое белье с белыми жестяными пуговицами, в теплые вязаные рубашки, телогрейки защитного цвета, без рукавов. Шуршит новая одежда на солдатских плечах, скрипят новые сапоги с брезентовыми голенищами по асфальтовому полу. Пишутся сотни писем родным и близким, и каждый подчеркивает: «Меня отправляют на фронт. Назначили в семнадцатую маршевую роту».

Я сижу на нарах и пришиваю к новой одежде пуговицы, посаженные на одну нитку. Вокруг меня пишут письма, а мне не хочется: узнают старики, шибче плакать будут.

— Эй, ты, Гаврилов, тебя зачем-то взводный зовет. Живо на носках!..—подойдя, сказал мне Аршинов с карандашом и конвертом в руках, в новой защитной одежде, в которой он показался мне высоким, белым и серьезным, совсем не похожим на себя.

«Зачем же это он такое?—подумал я.—Наверно, опять насчет нарядов вне очереди?»—и, воткнув иголку с белой ниткой в ватную подкладку новой защитной безрукавки, пошел к нему.

— Чего изволите, господин взводный?—спрашиваю я, опустив руки по швам и незаметно щупая новые брюки, которые кажутся мне холодными.

Взводный, сидя, подвинул обеими руками ближе к стене маленький столик и, снизу вверх взглянув на меня, сказал тихо и ласково, пододвинув к моим ногам табуретку:

— На фронт, значит, едешь. Небось, неохота?

За всю мою военную службу взводный в первый раз заговорил со мной не по-начальнически ласково, и это уж очень удивило меня.

От этих по-человечески сказанных слов сильнее, чем от побоев, загорелось мое лицо. Сидя на краешке табуретки, не помня себя от радости, не знаю, что ответить ему.

— А нешто можно не ехать?—осмелившись, спрашиваю я, смотря себе на ноги, обутые в новые брезентовые сапоги.

— В уборщики при лазарете можно оставить тебя,—и, поправив на голове зеленый картуз с новой круглой кокардой, добавил:—Все, брат, можно сделать.

«Остаться здесь при лазарете, это, пожалуй, не плохо»,—решил я и спроста, ничего не подразумевая, сказал ему:

— Ну что ж, если можно, оставьте, на фронт тогда не поеду.

— А деньги есть у тебя?—сказал он, не сводя с меня мутных остановившихся глаз.

Из старых брюк, которые только что сдал, я переложил в новые брюки, которые сейчас на мне, носовой вышитый платок (подарок), в котором завязано мое месячное гвардейское жалованье—семьдесят пять копеек, о существовании которых я и сказал взводному.

— А родные есть у тебя здесь, в Петербурге?—спросил он, рассматривая положенную на стол свою лохматую черную руку.—Может быть, у них найдешь рублей двадцать пять,—фельдфебелю надо...

— Нет, родные все в деревне у меня, а здесь нет никого.

— А к кому же ты со двора-то у меня отпрашивался?

— Это я так, трамвай, город посмотреть.

— А-а, ну, иди,—скучно протянул взводный. Пришивая к безрукавке жестяные пуговицы, сидя на нарах, я только догадался: «Ведь за двадцать пять рублей можно было у взводного с фельдфебелем от фронта откупиться. Хорошо на свете живется тому, у кого денежки есть!»

Через час мы уходим. Казарму занимают другие солдаты с сундуками и с сумками.

Идем... Новые пахнущие шинели защитного цвета, серые, с белыми завязками шапки; сбоку поблескивают синевой новые лопатки с желтыми ручками. Впереди музыканты с начищенными трубами играют егерский марш, а за музыкой вместо сутулого штабс-капитана Белоногова идет стройный и тонкий, с маленькими

черными усиками, поручик Пиявкин, перетянутый крестообразно новыми ремнями. С балконов и окон машут платочками парочки влюбленных, обнявшись. А из солдатских рядов им в ответ робко подымаются кулаки и развеваются рты с высунутыми языками. А многие из них, опустив головы, думают жуткие думы о войне, которая все еще не кончается, о немцах, которых в страшных боях придется сажать на трехгранный штык, по желобкам которого будет стекать немецкая кровь. Стучат о мороженую землю сотни ног, обутых в новые сапоги с брезентовыми голенищами. Играет музыка егерский марш. Осторожно ощупывают руки тонкие письма, написанные карандашом, родным и близким.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Широко раскрытые вагонные рты глотают солдат десятками, вместе с сумками, котелками, лопатками. По одну сторону тридцать и по другую сторону тридцать.

Длинный состав короток, наставляют сзади. Гнутся от солдат вагонные доски, наложенные в два этажа.

Нет спереди дымящегося паровоза, и вагоны не катятся. Есть строгий приказ: «Не расходиться из вагонов», а солдаты расходятся.

Я, довольный новым начальством, лежу сверху на новых досках, подложив под голову тоже новую безрукавку защитного цвета. Рядом со мной лежит Аршинов, от него пахнет водкой.

— Пойдем к бабам сходим с тобой. Я знаю такую, от которой заболеть можно. Из нашего вагона ребята ходили, всего по полтиннику берет только — недорого.

— Нет, я боюсь. Не пойду,— отвечаю ему.

— Что, думаешь, укусит, что ли? Эх ты, солдат!

— Не потому... денег нету у меня.

— Я заплачу. У меня есть. Отец пришлет тебе, отдашь полтину.

— Нет, мне не хочется. На ситный дай мне четвертак.

— Пойдем, чудак какой, закусим там. Аль ты ни разу не пробовал? Боишься? Пойдем,—настаивал он, потягивая меня за новую вязаную рубаху.—Пойдем, женю тебя!

Когда я настойчиво отказался, Аршинов стал просить отделенного Лапырева, который стоял у вагонной двери.

Лапырев—складный мужчина с русой волнистой бородой и угрюмыми карими глазами—обратился тогда ко мне:

— Многих солдат нету, не уходи хоть ты. В случае, кто из начальников спрашивать будет, скажи: ушел собирать разбежавшихся солдат. А мне сходить с Аршиновым надо. Придем скоро.—Он весело улыбнулся, придерживая сильной рукой волнистую бороду.

Второй раз вижу я эти улыбающиеся под черными жесткими бровями глаза.

Два дня назад, в казарме, улыбаясь так же, он говорил, сидя на нарах, холостяку-новобранцу:

— А у меня в деревне три мальчишки да четыре девочки. Они еще малы, но помогают матери Настасье, моей жене. А старший, Сёмка, скотину загонит и воды с колодца матери принесет, девять лет ему. Когда угоняли из дому меня в солдаты, он бежал по деревне за овцой и шибко распорол на бутылку ногу. Не знаю, зажила, что ли, теперь аль все болит.

А теперь, так же весело улыбаясь, он пошел с холостяком Аршиновым к бабе, под цветистую занавеску, для того, чтобы заболеть. А больному—вместо фронта, попасть в лазарет. А когда кончится война, поехать домой, целому и невредимому, к работящей жене Настасье с тремя маленькими сыновьями. Дома работать по-старому, не покладая рук.

Тащит паровоз, погромыхивая железными колесами, на войну вагоны, нагруженные солдатами. Ни из лагерей, ни из казарм солдат не пускали. А за два дня стоянки на петербургском вокзале все досыта нагулялись, а некоторые совсем не вернулись.

Катятся по холодным рельсам сотни колес, разговаривая друг с дружкой железными голосами. Вспоминают солдаты прошедшие незабываемые два дня. На верхних нарах сопит подгулявший Аршинов, повернувшись лицом к вагонной стенке. Отделенный Лапырев сидит на полу, посредине вагона, поджав ноги калачом, пьет чай из нового жестяного чайника. Вокруг него сидят солдаты и слушают его интересную речь.

— Ну, и нашло же нашего брата к ним... Сначала брали по полтиннику, а потом, под утро, и за целковый ни одну не найдешь. Спервачка я как-то боялся, а потом выпил, осмелился, ну, думаю, все равно пропадать так и так. Пьяная, жирная мне попалась, курит она, как мужик затягивается. Выпытала, «лиса», как зовут меня: «Удружу ж я тебе, Феденька,—говорит она подхалимным голосом,—после меня к жене пойдешь. Я по белому билету всех по домам отпускаю, и за один рубль всего...» А я возьми да и дай ей целковый фальшивый. Пьяная, пьяная, а разобрала, зашвырнула к двери его. «Я с тобой не стану. Бросай рубль фальшивый твой...» Как мужик, папироску за папироской курит, песни похабные затягивает. А как прижмется «лиса», так кипятком и ошпарит всего, аж в дрожь бросит. Лошадь последнюю отдал бы. Не утерпишь. Так и пришлось достать из-под подкладки красненькую неразменную, Настасья, жена, дома зашила которую. «Феденька, милый, какой скупой ты у меня, шоколадку не купишь мне. На фронте тебе

деньги не нужны. Купи шоколадку, винца купи еще, Феденька!» Волосы черные распустила «лиса», липнет, целуется, ноги свои показывает белые. Выманила «лиса», разменял красненькую, не пожалел. Купил папирос хороших в зеленой коробочке. Шоколаду темного, в свинце завернутого, две плитки взял. Пять целковых стало удовольствие это. «Ты не бойся, Феденька, это болезнь неопасная. Десять уколов в ноги, десять в спину, и пройдет все». Уколов-то я не боюсь. В ребятах был—ножами резали, и то жив остался, а игла—это пустяки, как пчела ужалит. Сегодня смотрел—ничего не обозначилось, рано, наверно. Беда, что было! Портки белые, широкие носит она, рубашку кружевную, короткую, спьяну разорвал я ей. Говорят, офицеры наши там были, ну что же, молодежь, тоже жить на свете и им хочется.

А паровоз с охрипшим голосом тащит да тащит по узеньким стальным дорожкам вагоны с человеческими жизнями. Каждого сидевшего в трясучем вагоне солдата мучает тяжелая мысль: «Скоро приедем на фронт». Сразу или немного погодя пошлют в бой. Немцы с австрийцами—народ злой, режут почем зря в наступлениях и атаках. На дальнем расстоянии пулей можно убить, а на близком, недолго думая, на штык их надо сажать, как соломенное чучело в казармах.

Винтовку всегда надо держать наготове в руках крепко. А когда подбежишь к неприятелю на три шага, необходимо делать большой выпад с левой ноги, а правую вытянуть стрункой. Большой удар получается от этого, даже скатанную баранкой шинель на неприятеле прокалывает русский трехгранный штык. В боях необходимо помогать товарищу чем можешь: «огнем, штыком и лопатой». Так учили в казармах

отделенные и взводные. Так думают солдаты, едущие на фронт. Так думаю и я, сидя в тесном вагоне на верхней полке.

Перед станцией воздушный тормоз схватил колодками вагонные колеса, и паровоз, замедляя ход, остановился у кирпичной водокачки с выбитыми стеклами.

На две стороны раскрылись двери вагонов. Серыми помятыми пачками рассыпаются солдаты во все стороны. Бойко торгует рынок, наводненный серой солдатской массой. Хорошо выручают лавчонки, торгующие съестными продуктами. Много покупают солдаты. Много и ходят, жадно поглядывая на колбасу и булки заспанными глазами.

Под навесом с железной крышей—лавчонка. На столике горячий ситный с поджаренной коркой.

— Белье теплое, не купишь у нас?—робко спрашивают два рослых солдата старика-торговца.

— Что за белье у вас?

Солдаты торопливо достают из-под полы вязаное ненадеванное белье.

— Сколько вам уплатить?

— Ситного по пять фунтов,—в один голос говорят двое.

— По фунту за пару могу уплатить.

— Что ты? За новое белье, да по фунту! Давай пять-то фунтов. Крестьянам в деревне по три рубля продашь.

— Дороже не могу, по фунту цена хорошая.

Сквозь румяную корку непочатого ситного идет пар.

Берегли, не марали солдаты белье, чтобы дали подороже, когда шибко есть захочется. А когда получили по фунту, сказали обиженно:

— Мало у вас воруют еще. По фунту за новое белье даете. Большие деньги с нашего брата наживаете.

Брызгает голодная слюна на теплый ситный, вымененный за белье. Пять жадных глотков—и ситный весь. А есть хочется. В вагонах солдаты толкуют все о том же.

— Сколько заплатили за буханку-то?—спрашивает солдат в нижнем белье.

— Пять пальцев да ладонь,—не знаешь разве, как покупают! Обступили человек пятнадцать лавку и нашарап весь ситный. Ох, и закричала старуха-еврейка! А дети ее заорали и заплакали. Всю лавку дочиста растащили, только одна буханка у старика осталась в руках.

Перерезав буханку ножом с деревянной ручкой, половину подал взводному.

— Давай, начальник, чайничек. За кипятком схожу, да попьем с мягким-то.

Слегка рябоватый, с орлиным носом, солдат Степанидин принес тонкую баранку колбасы.

— Я тебя больше кормить не буду. Сидишь, как пень, ты у меня и на базар не сходишь, колбасы с булками ждешь. Пошел бы сам на базар, да и слямзил.

— У меня духу как-то не хватает, не могу,—отвечает солдат виноватым голосом.—Вчера на станции походил вокруг палатки с булками—жрать охота, а казенный черный весь дошел. Взять побоялся, а денег ни гроша. Боязно. Старик смотрит,—а ну-ка, возьмешь, а он увидит!..

— А что он тебе сделает,—перебивает Степанидин.—Вчера начальнику эшелона солдаты гуся белого слямзили, голову отвернули. Стали ему передавать в

классный вагон. «Воруй, ребята, у жидов, только не попадайся, а если ко мне жаловаться придут, морду шашкой набью и жиду и тому, кто попадется».

ГЛАВА ВТОРАЯ

Сдирает солдат Степанидин тоненькую шкурку с украденной колбасы. И, довольный, режет острым ножичком на тоненькие ломтики.

— Девочки еврейские их... хороши!—потягивая из новенькой жестяной кружки казенный чаек, восхищается он.—Только одно нехорошо—глаза масляные у них. Ну, ничего, сойдет. Хороши, право. Кругленькие, румяненькие, с волосами курчавыми, а глаза, как угольки, горят, ничего, что масляные.

— Господин отделенный,—спрашивает кто-то из солдат,—а не забыл «той», с которой пятерик-то прогулял в Петербурге. Не наградила она тебя?

— Ну, та барахло,—сконфуженно ответил отделенный.—Пока ничего не заметно, не знаю, что дальше будет.

Наевшись колбасы, Степанидин принялся пришивать пуговицы к новой телогрейке. Вываливается маленькая игла из ручищи огромной, никак не попадет он острым кончиком в дырочку маленькую. А Лапырев заговорил об еврейках, он тоже знает о них кое-что:

— Я слышал, будто еврейки очень скоро стареют. Как за двадцать ей перевалило, замуж вышла, так и старуха делается. Смотрел я намедни, как его, город-то, проезжали... Речица, что ли. Там три еврейки-старухи на станции стояли: сухие, морщинистые, как грибы сушеные, бедные тоже, видать. Эх, а у меня...—как бы спохватившись, воскликнул он радостным голосом,—Настасья—жена моя. Сорок второй год ей,

детей четырнадцать человек народила, семь живых и столько же померли враз—скарлатина тогда по нашей местности ходила. А баба, посмотрели бы вы, куда хошь, хоть замуж еще выдавай. Как, бывало, летом, в праздник платок повяжет белый да платье малиновое наденет, выйдет на улицу, затянет хороводную,— голос хороший, звонкий у ней,—так все жилы во мне начнет передергивать. Сердце мое заноет от радости. Бывало, скажу ей: «Настась, домой пойдем, петухи третьи запели, ребятишки, небось, проснулись, плачут одни дома».—«Иди, Егор, один к ребятенкам, а мне дай погулять с парнями неженатыми, повеселиться, скуку разогнать, года молодые вспомнить. Я и теперь не очень-то устарела»... и затянет опять канарейкой:

Я вечор в лужках гуляла,
И гусар со мной гулял.
Гусар бравый, разудалый —
Про любовь все толковал.

Здоровая, веселая баба, бил я ее еще много спьяну. А кулаки-то у пьяного, знаете сами, как гири, здоровые да увесистые, здоровья от них не бывает.

Раз как-то, лет семь назад, напился я у кума Гаврилы. Прихожу домой, еще выпить охота, а у ней, знаю, полтинник остался. Она говорит: «Хоть убей— не отдам, на портки Сёмке надо, а на вино не дам». А волосы у нее густые, черные, ниже колен были. Бывало, расплетет косы, перекинет их наперед, нагнется немножко, они в аккурат на пол концами ложатся; и стоит за ними как за забором, ну, ни капельки ее самое из-за них не видать! Ляжет, бывало, со мной на кровать, а косы на пол спустятся, котята ими играют. Ну, и «сгрипчил» я ее тогда за них, намотал на руки—да давай по полу возить, от окон до двери, ну, спьяну-то целу горсть спереду вытащил, так и

сейчас плешина заметна, не заросла. Да вгорячах по боку как-то неловко ударил—два ребра выломал. Утром проснулся, жалко бабу-то, но ничего не поделаешь—не вернешь, в вине все бывает, и сам не рад. А она плачет, лежит на кровати: «На портки Сёмке берегла, а ты пропить хотел, пьянчужка, мучитель на меня навязался...»

Помолчав немного, он окинул усталым взглядом вагон, перегруженный солдатами, тяжело вздохнул и, как бы каясь, добавил:

— Да, сами виноваты бываем, ничего не попишешь. А теперь вот едем на фронт, на смерть явную. Убьют, никогда больше не придется увидеться. Чует мое сердце, чует, ребятушки, не бывать мне больше дома. Не видать Настасьи, провинился перед ней. Да и детей жалко, много их, а малы еще.

Прокричал хриплым голосом паровоз, дернул неловко застоявшиеся вагоны. Загалдел переполненный вагон. Пролился сверху кипяток на головы нижним. Ругань, шум заглушили голос Лапырева. Под говор железных колес едят солдаты колбасу и ситный, украденные у торговцев. А кто не умеет воровать, тот грустно жует сухую корку казенного хлеба. Мне хорошо: я познакомился по дороге на фронт с другом того Василевского, который повесился на чердаке в Петербурге. Баньковский—молодой солдат, из-под густых, почти черных бровей весело глядят большие карие глаза. Спим мы вместе на верхних нарах, под одной шинелью... Раньше он потерял деньги, а я нашел, вместе их зашили ему под подкладку телогрейки, чтобы не украли и не потерять больше. Он не из скупых, доверчивый, дает мне денег, чтобы сходить на базар и купить, что он скажет. Свою порцию он отдает мне, и я поедаю из двух что получше. По дороге мы

уговорились с ним: в случае, если его или меня убьют на фронте, то тот, кто останется жив, должен послать письмо родителям. Для этого мы передали друг другу конверты с адресами на родину. У него в Лодзи осталась старуха-мать, а отец умер—был портной, как и он.

Часто по ночам в трясучем вагоне говорит он мне о любимой полячке, которая осталась в Лодзи. Он считает месяцы,—по его счету, в декабре родит она непременно мальчика, которого назовут Брониславом.

При каждом разговоре о возлюбленной он вынимает из сумки маленькую книжечку, в роде евангелия, на польском языке, а в книжечке фотографическая карточка, где он сидит, держа в правой руке дымящуюся папиросу, а она, одетая по-городскому, стоит, положив маленькую руку на его левое плечо. Мне на карточке она не нравится, а он всегда убеждает меня, что она хорошая, что у нее очень красивые глаза и зажигательная улыбка, и он за это безумно любит ее и удивляется, почему она мне не нравится.

— Ведь ты еще в жизни не видал такой красавицы!—стараясь убедить меня, доказывает он.—Хорошо, что она осталась беременна. И я спокоен, что она не изменит мне,—вглядываясь в карточку, твердит он.—Ты, на, посмотри, чем плоха она?—и сует мне в руки карточку.

Вглядываюсь в карточку, и мне кажется, что у нее большой круглый рот и широкий расплывчатый нос, который портит ее детски маленькое лицо. Я это сказал Баньковскому.

— Это фотограф исказил, в действительности она не такая, посмотрел бы ты ее в натуре. Даю честное

слово, влюбился бы. Улыбка у нее хорошая очень, и вот за это больше всего люблю я ее!

Теперь я с ним никогда не спорю. Когда он предлагает мне посмотреть, я говорю: «Хорошо бы увидеть ее живую, а по карточке ошибиться можно».

И это Баньковского успокаивает. Прочитав написанное на обороте, он вкладывает карточку в книжку и еще раз пристально посмотрит на нее в открытой книжке... Наконец закроет и, вздохнув, бережно кладет в сумку.

Бегут во тьме лихорадочные вагоны. Везут они «храбрых защитников от врагов внешних и внутренних». Бредят защитники в темном вагоне тяжелыми снами. Болят головы от страшных, неиспытанных боев. Жутко в вагоне: храпит и тяжело вздыхает темный вагон. Не спит Баньковский, повернувшись лицом ко мне. «Хорошо, если бы помутились мозги в голове, ни о чем не думала бы она по дороге. Выгрузился бы на фронте, прямо в бой, где убили бы в первом бою с ничего не понимающей головой, наповал, как рогатого быка...»—думаю я в вагонной темноте. Там думают и все, кого не берет ночной сон.

Раскрыв глаза поутру, вижу, что вагон стоит, и никого нет. Перед глазами разбитая станция. Солдаты, еще не нюхавшие пороху, с любопытством осматривают вокзал, разбитый немецкими бомбами с аэроплана. Кирпичное новое здание угрюмо стоит с выбитыми стеклами. Зал первого класса—с обвалившейся стеной, а зеленая крыша свисла козырьком и гремела от ветра разорванными листами железа.

— Эва, как двинул, немчура проклятая!—говорит солдат, поправляя шапку.—Небось, народу невинного погибло сколько.

— Да уж говорить нечего. Хорошо, метко хватил, молодец! Энда стена кирпичная повалилась. Далеко, что ли, отсюда фронт-то?

А Лапырев, почесывая спину широкой рукой, посмеивается:

— Попадет этой самой бомбочкой сверху по головке, очиряпнет маленько, пожалуй!

Мне вспомнились вчерашние слова Лапырева: «Чует мое сердце, не вернуться мне больше к Настасье в деревню. Жалко детей, малы еще. Убьют меня на фронте в сражении». А теперь смеется, когда слышит немецкие снаряды и видит разбитую станцию.

— Эшелон отправляется!—кричит офицер приятным голосом с площадки второго класса.

Тише, кажется мне, стучат колеса перед фронтом. Осторожнее бежит вожак-паровоз с поднятой кверху трубой, с жидким дымком.

Стою и гляжу в приоткрытую дверь. Мелькают черными пятнами незнакомые поля и овраги. Скоро начнутся позиции. Видны окопы, окутанные колючей проволокой, оставленные немцами. Слышен затаенный гул далеких орудий. «Нет ли на дне окопа мертвецов или раненых,—думаю я,—лежат они, опухшие, с разинутыми ртами».

Втягиваю жадно свежий воздух: мертвечиной пахнет, кажется мне.

Скоро приедем на фронт, а поезд помчится обратно в Петербург за другими солдатами. Жалко расставаться с паровозом и пустыми вагонами. Сяду в угол крайнего вагона и уеду украдкой, откуда приехал. Зачем оставаться здесь, среди незнакомых полей, изрытых канавами? Разве нельзя найти смерть у родительского дома? Что будет со мной завтра или через неделю?!..

Может быть, моему другу Баньковскому придется писать письмо моим старикам. Запечатает он конверт, написанный моей рукой, в письме он не напишет правды, а соврет, как мы с ним уговорились, чтобы не напугать стариков. В словах коротких напишет он: «Вашего сына Михаила, с которым мы были вместе на фронте, тяжело ранили. Его отправили обратно в Россию. Вы не беспокойтесь, он должен выздороветь и приехать к вам».

А как старик обрадуется, когда принесут ему письмо из действующей армии. Надев очки, разглядит буквы, выведенные рукой сына: «Слава тебе, господи, жив еще наш Миша». Перекрестится он на запылившегося спасителя в угол. И мать, обрадовавшись, сделает то же самое. А когда дрожащие отцовские руки отрежут ножницами тоненькую полоску от короткой стороны конверта, и старые глаза разглядят чужие, незнакомые строчки, горько заплачет первая мать, а за ней и отец, старческими слезами. «Может быть, не шибко изранен, ведь раненые, бывает, выздоравливают... Пошли, царица небесная, матушка заступница, пресвятая богородица, скорого выздоровления сыну единственному нашему!»

Долго будут со слезами молиться они образам запылившимся. Нет, не помогут иконы деревянные! Не вернется с фронта раненый сын их, единственный!

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Виленская губерния. Ноябрь месяц. Непролазная грязь—ни зима, ни осень. Режет плечо проклятая винтовка с тяжелыми патронами. Серая шинель по пояс в грязи. Тысячи солдат ведет эта гибельная дорога. Туда, где стоят друг против друга железные пушки

с разинутыми беззубыми ртами. Впереди, чтобы не замарать тонкие ноги, осторожно ступает по грязи вороной короткохвостый командирский жеребец. Через каждый час командир роты, делая на седле пол-оборота, показывая черные усики, говорит передним:

— Оправиться!..

Денщик берет за узду жеребца, а командир опускается в грязь с широко расставленными ногами. Солдаты, все как один, не выбирая места, садятся в холодную грязь. Тут же закрываются глаза на посинелых лицах. Баньковский, сидя в грязи, размачивает в луже съэкономленный в вагоне кусок черного хлеба. Пить в походе не полагается, а я жадно, украдкой, чтобы не заметило начальство, кружку за кружкой, хлебаю жижу молочного цвета пополам с грязью. Храпят люди в грязи. Стоит смирно усталый жеребец, низко опустив голову. Под шинельный рукав на часы посмотрел командир и командует, опираясь в стремена ногами:

— По-ды-ыма-йся-я!..

— А ну, вставай, живо подымайся!—вторят за ним взводные и отделенные.

Зашептали измученные ряды, опираясь в липкую грязь:

— Ему можно командовать верхом на хорошей лошади, а тут сил никаких нет...

— Хоть бы под пули скорее вели!

— Жизнь проклятая, хоть бы издохнуть в этой грязи, не подымаясь!

Верующие проклинают бога за то, что он так безжалостно их мучает.

Любящие отцов и матерей клянут их матерно: зачем пустили на свет и тем самым заставили невыносимо мучиться и искать себе смерти.

Синие губы, и лица. Баньковский не встает.

Поднимаю за руки.

— Возьми, если можешь, мою сумку,—там две пары белья и кусок мыла.

Я не отказался. У меня в сумке белья одна пара да вышитое материно полотенце. Тело мое по пояс мокрое. В просторных сапогах хлюпает грязь. Ноги потерты, и я иду, как и все, изредка кривя губы. А в голове одна мысль: «Скорее бы деревня, отдохнуть, обсушиться». Лениво идет впереди жеребец, изредка помахивая коротким хвостом. Скрипит новая кожа на командирском седле. Шлепают по грязи сотни измученных ног, погремливают надоедно подвешенные к поясу котелки и лопатки. Тянет командир роты под нос скучную песенку, сидя на лошади. Падают спереди и сзади солдаты, завязив в грязи уставшие ноги. Обходим бледнолицего Смыслова, увязшего в грязи, с широко раскрытыми непонимающими глазами.

— Ну, еще один свалился, всем нам, наверно, придется подыхать в грязи этой!—страшно спокойно сказал кто-то сбоку.

Вспоминаю веселого москвича Смыслова в казарме, где он с присвистом танцовал казачка и разные другие пляски. На него—веселого, с немного косоватыми, но красивыми глазами—с восхищением смотрела вся казарма. То он вертелся ветром на мыске ясного сапога, то точно пружиной взвивался высоко к потолку, продолжая выкидывать в воздухе разные колена.

Усталый гармонист кончил играть, а он, разгоряченный, продолжал «под сухую», наигрывая ртом с красиво сложенными губами:

Чи... чи... чи... чи...
Чи-чи... чи-чи... чи-чи...

Его, потного, с красным, разгоряченным лицом, по получасу на руках носила казарма. А теперь, бледного, умирающего Смыслова, лежащего на спине в грязи, молча и спокойно все обходили.

— Что, плясун, отплясался?—сказал солдат, проходя мимо.—В грязи-то, видно, неловко свалился.

А всего только несколько дней назад говорил Смыслов в вагоне, поблескивая косоватыми глазами:

— Люблю я подраться страсть как! В Москве на стенках главарем был. Целый десяток немцев на штык посажу, без этого с фронта не уеду!

Нет, не пришлось храброму москвичу Смыслову посадить на штык ни немцев, ни австрийцев. Не пришлось даже раскосыми глазами увидеть их.

Через два дня в деревне на отдыхе догнала нас линейка на паре пегих, с провалившимися боками лошадей.

— Замерз вместе с грязью на дороге плясун тот,—сказал рыжий солдат, с красным крестом на рукаве.

— Оттащили к сторонке в канаву, землицей маленько закидали его,—спокойно добавил другой санитар, снимая с плеча сумку, забрызганную грязью.

Вот все, что я узнал о плясуне Смыслове, веселившем сотни людей в угрюмой петербургской казарме.

На грязное поле брошено маленькой кучкой шестьдесят хат, обмазанных глиной. От холода охраняют хаты копны немолоченной ржи. Тринадцати верст не дошел солдат Смыслов до деревни Новожилок. Первым въехал на вороном жеребце командир роты, за ним и мы вошли с посинелыми лицами и онемевшими усталыми ногами.

Нам на двадцать человек, во главе с отделенным Лапыревым, досталась хата посреди деревни. Семья,

жившая в этой хате с земляным полом,—один ходячий, а два не ходячих. Хозяин дома—глухой старик в самодельной, острой, как у попа, шапке. По его безбородому лицу прошли длинные года и оставили много морщин глубокими бороздами. Если бы не кашель и шлепавшиеся на пол плевки, то никто бы не узнал о его существовании за печкой. Его сноха—высокая полногрудая Евдоха с круглым румяным лицом—входила и выходила из хаты, хлопоча по хозяйству. В углу, на сундуке, сидела ее дочка с короткой сухой ногой и дико смотрела сквозь белые нечесаные волосы на нас, непрошенных.

К вечеру в конце деревни был готов обед в ротной кухне. Из двадцати человек, которые помещались в хате, Лапырев послал одного с двумя котелками. В походе горячей пищи не было несколько дней. Никто не мог встать и наполнить тощий желудок горячей пищей. Все попробовали снять сапоги с одеревеневших ног, но никому это не удалось. Так и лежали все, где попало, с раскинутыми чурками.

К вечеру у хозяйки попросил кто-то, и она принесла нам беремя яровой соломы и разостлала ее по полу от маленьких темных окон и до низкой двери. Усталые, легли вповалку по всему полу на свежую солому.

— Бочком, бочком, ребята, надо, на спины не ложитесь, места так всем не хватит,—распоряжался отделенный Лапырев, ковыряясь под окном в своей сумке.

Точно безъязыкие, тупо тычутся в солому солдаты, плотно прижимаясь друг к другу, экономя место. Под хозяйкину кровать никто не ложится. Мы с Баньковским легли добровольно. Широкая двуспальная кровать пахнет сыростью, кругом паутина.

— Ничего, нам с тобой здесь поспокойней,—сказал, засыпая, Баньковский.

— В случае в наряд нас отделенный назначит,—нескоро отыщет,—сказал я, смахивая с лица прилипшую паутину. Я было уснул, но Баньковский толкает меня:

— Знаешь, брат, жаль Василевского. Нашел же смерть,—повеситься! Смелый парень был, в Лодзи на ткацкой мастеру мешок на голову натянул да с лестницы столкнул. На работу за это дело не принимали его, а ткач первой руки был. На службу царскую безработного взяли. Денег ни копейки не имел, я помогал ему. Засмеяли, забили в Петербурге... повесился... Эх, жизнь!..

Покойного Василевского близко не знал я, и сейчас, засыпая под солдаткиной кроватью, смутно вспоминаю его—белокурого, с низко нависшими бровями на затаенно-стариковские глаза. И мне тоже становится жалко Василевского. «Дурак смелым не будет и не повесится!»—вывожу я заключение.

Утром, искусанный вшами, клопами и всякими паразитами под хозяйкиной кроватью, просыпаюсь,—еще темно. Опомнившись, что со мной и где я нахожусь, слышу возню на хозяйкиной кровати.

— Старому кликать буду!.. Ферфеберю жаловлюсь!..

— Он глухой, жалуйся... Я сейчас... не удешь, не боюсь... подожди...

Узнаю голос отделенного Лапырева. «Он больной,— промелькнуло у меня в голове,—в походе к фельдшеру лечиться ходил, заразился от бабы петербургской».

А хозяйка продолжает настойчиво:

— Ферфеберу буду... кусать буду... кусать буду...

Я не знаю, что делать. Кроме меня, никто, наверно, не слышит. Под кроватью тесно, не могу повернуться. Ищу руками в перепутанной соломе ноги отделенного. В горячке ушиб себе больно голову. Тихо скрипела старая кровать молодой солдатки. Слышу, щелкают

зубы, слезные всхлипы... тяжелое дыхание, с кровати вниз, к стене, нащупываю трясущуюся бороду отделенного. Дернул. Закружилась голова. И я заплакал, уткнувшись носом в потную спину Баньковского, с завернутой на плечи рубахой.

Спали долго. Отделенный поднимает часов в девять хозяйским голосом:

— А ну, вставай, ребята, будет валяться!

Проснувшись, вижу в моем кулаке осталась прядь волнистых волос из длинной бороды Лапырева.

Евдоха, с опущенным белым платком на заплаканные глаза, убирает с пола помятую солому, и ей услужливо подсобляют солдаты.

Отделенный тоже ходит по хате с расчесанными мокрыми волосами. За печкой кашляет и плюется старик-хозяин. А на крышке сундука сидит пятилетняя дочка Евдохи с короткой ногой и перепутанными белыми волосами. В ногах, в чашке какая-то жижа, она макает в нее кусок хлеба. Лицо у девочки бледное, на подбородке грязные подтеки. Отделенный подходит с отцовским видом, сует ей большой засаленный кусок сахара. Она не берет, мотает головой, отворачивается к глиняной стене.

— Да ну, возьми, дочка! У вас с матерью такого нет. Он сладкий, попробуй!

Оставив на сундуке кусок сахара, отделенный отошел, а девочка ногой столкнула его на пол, и он покатился. Солдаты засмеялись.

— Эва, какая,—не берет из чужих рук.

— Материн хлеб слаще чужого сахара.

Жадные вши едят грязное тело, расчесанное ногтями до крови. К полдню маленько пригревает солнышко. Идем за сарай на заднюю улицу, не стесняясь снимаем

штаны и рубахи. Лопаются под ногтями, брызгая человеческой кровью, жирные вши. Аршинов вывернул наизнанку подштанники неопределенного цвета, стегает ими об угол сарая.

— Заели, прямо заели, сороконожки проклятые!— приговаривает он, нахлестывая.—Прямо ужас, навалилось сколько, не перебьешь нипочем! Как прилипли! Окаянные! Все пуговицы отскочили, а вши все сидят.

Прижавшись к стене сарая, бью вшей покрупнее. Большие пальцы на моих руках по первый сустав в крови, а вшей все много, их не перебьешь. С подопрелых подмышек пленками слезает кожа; морщась, кидаю ее себе под ноги.

У другого сарая солдаты пробуют выжить вшей на костре.

Дымятся рубахи, а вши ползают.

По деревне гонят на фронт стадо сибирского дымчатого скота с большими извилистыми рогами. Голодные быки и коровы лезут на низкие крыши хат, стаскивая с них прядями гнилую позеленевшую солому. Сопровождающие солдаты бьют скот по сухим задам, не жалея, толстыми палками. Голодное стадо ревет, сажая друг друга на острые рога, но не отходит от оголенных до ребер низких крыш. Полтораста сильных животных с извилистыми рогами гонят три человека с тремя короткими палками.

«Какая сила держит этих быков? Почему не разбегутся эти полтораста сильных животных в разные стороны?—думаю я.—Ведь они видят, что жизнь их идет к нехорошему. Мычат, сажают друг друга на рога, а все-таки идут, подгоняемые тремя короткими палками». Я поделился этой мыслью с Баньковским.

— Мы, люди, считаемся умнее скотины, нас триста человек, а командир роты Пиявкин один ведет нас, и

мы слушаемся. Запросишь есть, а он тебе по морде надает—терпи! Вздумаешь пить, а он тебе в рыло натычет—в походе не полагается! Задумаешь убежать с фронта от войны, жизнь свою спасти, а он тебе пулю в лоб: не беги, воевать надо! Выходит дело, мы такие же быки, только безрогие,—улыбаясь, закончил Баньковский.

У меня болит правый бок. Два дня тому назад, измученные жаждой, проходили мы, в роде этих быков, мимо колодца в деревне. Кто мог бежать, побежал. Не отстал и я. У колодца свалка. Кто-то из солдат, желая поскорее достать воды, ударил головой меня по боку. В горячке, поежившись, не придал этому значение, а сейчас больно дышится.

Проходя мимо сарая, где лежит солома и сено Евдохи, в хате которой мы ночевали прошлую ночь под кроватью, слышим шум и невнятные бабьи слова:

— Ферфеберу, офицеру жаловаться буду...

Узнаю голос Евдохи. Мелькнула мысль: «Надо пойти помешать».

Баньковский остановил меня:

— Не ходи, не наше дело.

— Нет, врешь, не вырвешься! Отделенному можно, а нам нельзя? Все слышал...

Смолкли голоса, в сарае тихо. Слушаем напряженно, прижавшись к стенке сарая. Ничего не слыхать.

— Кто это с ней? Давай подождем,—шепчет мне Баньковский.

Спустя немного из бездверного отверстия сарая выходит Аршинов, одергивая из-под ремня гимнастерку. За ним другой, с разрумянившимися щеками, в шинели в накидку—не нашего взвода.

Баньковский не сдержался и крикнул Аршинову вслед:

— Сам гниешь, а человека семейного губишь!

Тот обернулся, молча махнул рукой и скрылся за углом хаты, поправляя на голове серую шапку.

— Пойдем в сарай, посмотрим,—обратился я к Баньковскому.

Евдоха стоит к нам спиной и, торопясь, фыркая носом, перекидывает через лемях кверху веревочные вожжи, один конец которых захлестнут на шее. Мы кинулись к ней.

Увидев нас, она, точно рассерженная львица, с огневым лицом и стиснутыми белыми зубами, бросилась на нас, махая вожжами, привязанными концом на шее. Мы кинулись к ней. Я поймал за конец вожжей. Баньковский хотел было скинуть петлю с ее головы. Она схватила его зубами за руку, и оба упали на разбросанную солому. Растерявшись, не знаю, что делать. Два тела корчатся, тяжело дышат, путая ногами солому. Нагнувшись к головам, стараюсь освободить руку Баньковского из стиснутых зубов Евдохи. Ее налитые кровью глаза широко раскрыты, ноздри правильного носа расширились, и все красивое лицо стало злым и звериным. Руку Баньковского, схваченную пониже локтя, так и не удалось освободить. Пытаюсь объяснить Евдохе, что мы пришли не «затем», что мы не «такие». Баньковский от боли и обиды заплакал, обняв Евдоху за шею.

Пара невольных врагов лежит, не дрогнув ни одним мускулом. Баньковский,—согнувшись, на боку, без шапки. Белые сильные ноги Евдохи подняты, и их утолщенные места и нижняя часть живота ободраны до крови ногтями ушедших насильников.

Убедившись, что ничем не могу помочь своему другу, схваченному зубами рассерженной женщины, тороплюсь за помощью. По дороге далеко, у хаты,

попался незнакомый пожилой солдат. Я пригласил его. Подходя к сараю, я издали заметил, что два «врага» стоят близко друг к другу. Рука Баньковского завязана белым платком с головы Евдохи. Она стоит все еще с веревкой на шее, утирая ему слезы разорванным спереди платьем. Потом, нагнувшись, подняла шапку, отряхнув ее от соломы, бережно, как мать ребенку, надела на голову и, обняв за шею белыми полными руками, поцеловала его, звучно чмокнув красивыми губами.

Глядя на них, я обрадовался и засмеялся. Не знаю, умел ли я смеяться так в неповторимом детстве.

А приглашенный мною солдат, увидев эту картину, ушел, махнув обиженно рукой.

— Што ты меня тащил? Нешто я не видел, как бабы с мужиками целуются! Видел, брат, я еще кое-что...

Я рад, что он ушел. В этом убогом сарае с отверстием без ворот перемешались сейчас: смерть, веревка, поцелуи и слезы. В такое время, когда в голове только одна надоедная мысль: «Снаряды, ранение, штыки немецкие, с зубчатыми пилами». Теперь, глядя на эту счастливую пару в сарае я забыл про все. Жадно смотрю и плачу от радости. Здесь, где нет людей улыбающихся, я живу и никого не пущу в этот сарай, каждому не понимающему этого, перегорожу дорогу своим грязным до бесчувствия телом. Пусть живут Баньковский и Евдоха. Пусть пьют двое из одной чаши радость! Здесь нет насилия, хитрости, ненависти и обмана! Залито горячим румянцем красивое лицо женское. Пьет не напьется Баньковский лаской салдаткиной.

И я неизмеримо счастлив. Я живу, потому что гляжу на радость двух людей среди сплошного горя человеческого!

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Войдя в хату, я увидел: солдаты куда-то готовились. Начищали закорявившие в походе сапоги, выбивали пыль из загрязненных шинелей.

— Куда это вы приготовляетесь?—спрашиваю я у двери солдата, прилаживавшего к шапке круглую кокарду.

— А ты где был? Распоряжение было—полкам гвардейским приготовиться на смотр.

У моей шинели в походе оторвались крючки и петли. Усевшись на пол по-портновски, я стал пришивать.

Хохол Тур с широкими плечами и таким же белокурым лицом стоит посредине хаты в шинели, при ремне с начищенным двуглавым орлом. Кругом него ползает по полу на коленях другой солдат, щелкая ножницами, обрезает на подоле шинели разные узелки и ниточки.

— Смотрите, ребята, чтобы всем так, как Тур, к смотру приготовиться!—сидя на скамейке, говорит отделенный Лапырев.—Смотрите, не подкачать у меня! Чтобы было все честь-честью! Наши гвардейские части с фронта сменились, сейчас стоят на отдыхе; смотр им будет, и нам приказ пришел явиться на этот смотр. Ежели у кого шинель будет с потрепанным подолом или бляха у ремня плохо вычищена, или, допустим, сапог не вымыт как следует,—берегись у меня! Пеняй тогда на себя.

Послушные солдаты вытряхивают каждую пылинку из высушенной шинели, мажут сажей сапоги, порыжевшие в походе, трут землей на ремнях орлов позеленевших. Каждый солдат чистится, отряхивается, как бы не «подкачать»...

— А ну, выходи на смотр!—крикнул отделенный перед вечером.—Посмотрю я, как вы приготовились.

Солдаты торопливо одеваются в шинели, приготовленные для смотра. Выходят и становятся плечом к плечу на сырую улицу. И каждый говорит завистливым взглядом: «Смотрите, как я приготовился. Попробуй, отделенный, придерись ко мне—все в порядке».

Стоит взвод в шестьдесят человек в одну длинную шеренгу. Зорко смотрят отделенный и взводный, к чему бы придраться у крайнего солдата.

«Все в порядке, ничего не найдешь такого»,—говорит взглядом каждый солдат, поглядывая на своих прямых начальников. Между мной и Баньковским стоит Тур, улыбаясь широким лицом, подаваясь вперед широкой грудью. «Ко мне не подкопаешься»,—говорит он.

Когда подошли к нам начальники, то первым стали смотреть Баньковского, но, не найдя никаких недостатков спереди Баньковского, отделенный скомандовал:

— Баньковский кругом!

Баньковский повернулся.

— С левой стороны у хлястика пуговица немного повыше, перешить надо,—заметил взводный.

— У тебя, Тур, чернота в бляхе. Вычистить надо.

— Хиба не чистив, всего орла постырал до блиску,—обиженно сказал Тур отделенному, стараясь не говорить на родном языке.

— Пола-то правая длиннее у тебя,—заметил мне взводный.—Гвардеец!.. Наряд за это давать надо, и по морде вкатить следует.

— Рразойдись!—скомандовал взводный, утершись красным платком.

Шестьдесят человек—и шестьдесят замечаний. Снова начали тереть сапоги, обстригать с подолов шинелей болтавшиеся ниточки, тереть землей бляхи со

стертыми орлами. Правая пола моей шинели была действительно на вершок длиннее против левой. Переставляя крючки и пуговицы, я не заметил этого. «Это ничего—ни нарядов, ни по зубам не попало!»—отрезая ножом лишний вершок от правой полы, думаю я.

Ночью мы с Баньковским спим на «излюбленном» месте, под солдаткиной кроватью.

Евдохи нет дома. Напуганная первой ночью, она взяла на руки дочку и ушла к соседям. В то место, где свисала борода отделенного, из которой, по горячке, я выдернул прядь, теперь плюет и кашляет старик-хозяин. Плевки жирной холодной стариковской слюны падают к нам на сонные лица. Лежу и думаю под кашель больного старика: «Завтра на смотру увижу разных генералов. Будут смотреть они: чисты ли солдатские сапоги, хорошо ли сидят шинели на гвардейских плечах, блестят ли солдатские ремни с двуглавыми орлами? Все, решительно все пересмотрят у солдат генералы с золотыми погонами. Расскажут, наверно, как надо воевать на фронте с немцами. Скажут генералы солдатам, когда кончится губительная война». С этими мыслями о завтрашнем смотре я заснул.

Рано утром, когда кое-кто уже встал, приготовляясь к смотру, проснулся и я. Тело мое, искусанное разными паразитами, нестерпимо щипало, облитое с кровати. Я было выругался на больного старика, а потом подумал снисходительно, поднимая от красного тела мокрую пахнущую рубашку: «Ладно, высохнет».

Баньковский, сонный, выкатился из-под кровати,—проснулся сухим.

Старик лежит на спине, с открытым беззубым ртом. Если бы не шипение из этого черного рта, нельзя было бы узнать, жив или мертв этот человек с некрасивой реденькой бородой.

Проснувшись, солдаты беспокойно оглядывали одежду и обувь: «Все ли в порядке? Как бы не подкачать на генеральском смотру...»

По-темному выходили солдаты из душных и тесных хат строиться в отделения, из отделений во взводы, а из взводов в маршевую роту под командой поручика Пиявкина. Он выехал с краю деревни на вороном жеребце, поздоровался, почтительно приложив к козырьку руку в кожаной перчатке:

— Здорово, молодцы!

— Здрав... желам... ваш-сок-родь!..—ответила рота, блестя начищенными бляхами.

Не то дождь, не то снег. Дует ветер с холодной стороны. Рота задрала по пояс полы шинелей. Грязная двадцативерстная дорога, обставленная незнакомыми деревьями. Разъезжаются во все стороны солдатские ноги, падают солдаты в липкую грязь начищенными для смотра шинелями.

— Запевай!—слышится команда поручика Пиявкина.

По шеренгам послышался говор, отыскивающий запевалу. Скоро затянул впереди старый солдат гвардейскую песню:

Колонна за колонной, полями, лесом, вброд,
Могуче, неуклонно вся гвардия идет!
Зеленые рубахи, зеленые штаны,
Штыков стальные взмахи, не люди, а слоны...

Песня тянется поневоле. Далеко вперед уехал командир на вороном жеребце: не понравилась солдатская песня.

— Не до песен здесь по такой дороге,—сказал Баньковский.

— Да, скользкая очень,—отвечаю нехотя.

— Скоро, наверное, на передовые угодим,—слышится говор в рядах.

— Да, уж скорее бы к одному концу! Может быть, ранили или убили бы...

— А в походе вши не такие зубастые, как на отдыхе.

— Что же ты, Тур, шинель чистил, чистил, а потом в грязи замарал до пояса?

Тур махнул рукой, повернул назад широкое раскрасневшееся лицо.

— Чорт с ней!—безнадежно сказал он.

Дует ветер с холодной стороны в разгоряченные лица. За кустарником большое поле с маленькими пригорками. Приближалась к концу дальняя тяжелая дорога.

Большой продолговатой рамой стоят гвардейские части, приготовленные к смотру. Влилась и наша рота маленькой частицей в триста человек.

Стоим час, стоим другой. Зябнут ноги, увязшие по голенища в грязь. Зачем стоим, чего ждем—неизвестно. Тысячи мокрых людей с синими лицами торопливо ждут какого-то большого человека с высоким чином и неограниченной властью. А посредине, в большой серой человеческой раме, маленьким пятнышком стоят командиры рот и батальонов. За рамой, у кустов, конюха водят под уздцы командирских лошадей с новыми седлами.

На пригорке появились два верховых. Под одним лошадь белая, а под другим вороная.

Офицеры разбежались на свои места.

За несколько десятков саженей от полка всадник на вороной лошади поскакал галопом. Лошадь, вытянув низко голову, скакала, ловко вскидывая к пасмурному небу комья грязи. Галопом влетев в ворота рамы на середину полка, всадник круто повернулся, сверкнул обнаженной саблей и крикнул что-то, не услышанное солдатами.

— Это командир полка нашего,—сказал отделенный Лапырев, вытянув руки по швам.

Ротные взяли на караул обнаженные сабли. Затем тихо, сдерживая белого коня, въехал командир бригады.

Подъехав к командиру полка, он взял под козырек, а тот вложил саблю в ножны, махнул рукой, и полк стал строиться в роты.

— И не поздоровался даже,—сквозь зубы злобно процедил кто-то.—Зачем вели, мучили? Когда же конец?! Ох ты, жизнь проклятая!

— Немолодой—в роде командира бригады нашей!—добавил другой, щелкая продрогшими зубами.

Не то дождь, не то снег муслякает двадцативерстную дорогу под солдатскими ногами. Дует неласковый ветер, запуская холодные иглы в «казенные тела», изъеденные вшами!

ГЛАВА ПЯТАЯ

Против хаты Евдохи, где остановился наш взвод, стоит хорошая изба, отменная от других. С крыльца ее выбежал старик в расстегнутой поддевке, без фуражки, размахивая руками.

— Насильно обманул... насильно!..—кричал он визгливым голосом.—Жаловаться в полк поеду!.. Что делает, нахальник, из своей хаты выгнал меня. Берег, спал вместе, а он—на!.. Хуже немцев, в тысячу раз хуже!..

На крыльце появился ротный Пиявкин с револьвером в руке, с расстегнутым воротом у защитной гимнастерки.

— Поворчишь ты у меня, старая собака! Пристрелю вместе с твоей дочкой. Некогда с вами в военное время расцеловываться!

Напуганный револьвером, старик пятился от своей избы. Седые волосы его то-и-дело опрокидывались сзаду наперед, загораживая старческие глаза.

— Немцы были, ничего не взяли, а вы все растащили, и дочку обманул—испортил господин офицер. Зазвал пол мыть... испортил... Кому нужна стала такая? Наши хуже немцев, в тысячу раз хуже свои, а еще русские называются!..

Из хат высыпал народ; молодые и старые, штатские и военные—всех выгнал старик с визгливым голосом.

На крыльцо к командиру роты входит фельдфебель, держа почтительно под козырек руку.

— Чего извольте, ваше высокоблагородие?

— Построить роту и сейчас же выпороть как следует старого чорта! Понял? Выпороть!

— Так точно! Понял, ваше высокоблагородие.

— Кричит: «Хуже немцев русские». С ума сошел старик. Понимаешь,—«невинность» дочки берег!

— Это недопустимо, недопустимо, ваше высокоблагородие. Сколько прикажете розог, ваше высокородь?

— Два десятка дайте. Хватит для этой старой собаки! Узнает, как мы, русские, хуже немцев. Невинность! Старая... Идешь на смерть, кровь проливать, а он—невинность! Я покажу!..

Выглядывает, крадучись, в большое окно просторной хаты на оживленную улицу дочь старика, черноволосая Полинька. Жаль ей обиженного отца; а еще более жаль, чего в жизни никогда не вернешь и что так заботливо охранял отец.

Стоит вдоль узкой улицы семнадцатая маршевая рота, выстроенная по командирскому приказанию. Шепчутся возле хат старики со старушками.

Рыжеусый, смуглолицый фельдфебель идет от сараев с пучком ивовых прутьев. Постегивая им о мерз-

лую землю, пробует пригодность для задуманного «дела».

Два солдата ведут под руки старика с обнаженной головой, в расстегнутой поддевке. Пришел и командир роты Пиявкин молодцеватой походкой, придерживая рукой в перчатке верхнюю часть командирской шашки.

— Прости, прости меня, бога ради, господин офицер! Прости!—просит старик, вытирая полой мокрые глаза.—Прости меня, барин! Прости!

— Нет, не умолишь, старая собака! Выучу я тебя, как считать офицера русского хуже немецкого. Узнаешь! Я на смерть иду, ты знаешь это?!

Ротный засуетился и быстро подбежал к правому флангу построенной роты.

— Ну, вы, двое правофланговых, дайте по десять ему. Выходите!

— Мы не пойдем, ваше высокоблагородье, руки не подымутся.

— Как? Вы сговорились не исполнять приказаний? Морду набью! Зубы вышибу к чорту!—гневно кричал командир, заложив правую руку за пазуху.—Сами ляжете на его место. Понимаете? Самих положу!

— Пошлите других, ваше высокоблагородие, руки не подымутся на такого старика. Ей-богу, не хватит духу у меня,—доказывает один.

— Два шага вперед... шагом марш!..—командует Пиявкин, бледнея от солдатского непослушания.

Я стою рядом с отказавшимися пороть старика солдатами.

Теперь уже очередь моя, если будет вызывать ротный с правого фланга. «Нет, будь, что будет, но стегать не пойду, ниючем!—говорю я себе.—Пусть самого силой кладут со стариком. Неужели до смерти можно запороть ими?»—думаю я, глядя на тонкую

связку прутьев, валявшуюся на земле... Сердце бьется глухо и больно. А в голове родилась трусливая мысль, которой задумал воспользоваться я...

— Господин отделенный!—спрашиваю я тихо стоящего впереди меня отделенного Лапырева.—Разрешите выйти из строя, живот схватило что-то!—и я притворно сморщился, схватившись крепко обеими руками за живот.

Лапырев взглянул на меня и засмеялся.

— Что, стегать не хошь? Нет, пойдешь! Не смей выходить!

Левее меня кто-то вслух засмеялся. План мой легко провалился, но я все-таки не перестаю пытаться морщиться, придерживаясь руками за живот. А сам думаю: «Ну, что ж, чорт с вами, лягу. А в походе застрелю тогда из винтовки Пиявкина. Все равно на фронте убьют скоро...»

В это время Пиявкин безжалостно бил по лицам отказавшихся пороть старика солдат.

— На... на... сволочи!—цедил он, морщась, сквозь гнилые спереди зубы.

Солдаты попятились от ударов, сплевывая кровь.

— Ваше высокоблагородие, я назначил двух солдат из второго взвода,—докладывает фельдфебель, держа руку под козырек.

От слов фельдфебеля у меня невольно опустились руки и, наверно, повеселело лицо. Чтоб не выдать себя с головой, я снова принялся морщиться, кряхтеть, придерживаясь за живот. Но, несмотря на это, я чувствую, что из этой моей затеи ничего не выходит.

— Брось, Гаврилов, дурака ломать!—сказал мне внятно рядом стоящий со мной солдат.—Теперь не вызовет, других нашли.

И я послушался, как назло, опустил руки и выздоровел.

— Этой сволочи тоже по десять,—указал Пиявкин дрожащей рукой на двух ослушников с окровавленными ртами.

— Прости, барин, прости меня...—плакал старик, вздрагивая ногами.

— Кладите его живо!

Старик бросился в ноги офицеру.

— Прости, барин, сынок милый, глупого старика!

Обнимает жилистыми руками начищенные сапоги, целует их, прося милости.

Двое взводных оттащили и услужливо раздели его. Рота встала кольцом, загородила старика от посторонних. Он лежал ничком, со спущенными до колен портками. Поддевка с красной подкладкой заворочена на голову. На левой костлявой ягодице старика дрожит большой шов, похожий на собачий укус. Чтобы не просечь кожи, зад старика обернули мокрым полотенцем.

— Господи, думал ли я, что на старости лет будут стегать меня розгами!—глухо в землю говорит старик, положив лоб на скрещенные руки.

— Начинайте!—скомандовал Пиявкин.

Жвыкнул первый удар гибкого прута, за ним второй... От третьего свищем потекло из старика на концы вышитого полотенца.

— Довольно!—отвернувшись, махнул рукой командир.—Чорт с ним! Хватит. За ним семнадцать останется.—Давай других.

Старик не вставал.

— Ох-х-х, батюшки!.. Умираю... Ох-о-о-х, смерть моя!..

Положили двух, ростом равных. Обнаженные, крутые, как у баб, зады покрыты мурашками.

Так же завязали мокрыми полотенцами.

Один за одним десять ударов визгливыми розгами. От первых ударов лопнули холщевые полотенца. Брызнула молодая кровь через просеченную кожу.

Встали, опустили шинели. Ни слезинки на побелевших лицах со злобно стиснутыми зубами. Широконосый, с круглыми глазами, взглянул на командира, улыбнулся.

— Как, ты мимику строишь? Мало тебе? Сволочь... буйволовой кожи!..

Он поманил фельдфебеля указательным пальцем.

— Еще десять ему, мимику мне строит!.. Смеется! Еще десять, сволочь толстокожая! Он и не почувствовал!

— Ох... смерть моя!..—охает старик, прикрытый подолом поддевки.—Умираю... о-ох... о-ох!..

— Вы ведь десять приказали?!—говорит стеганый солдат Пиявкину с навернувшимися от обиды слезами.

— Довольно ему, ваше высокоблагородие,—просит снисхождения фельдфебель.—Здорово, до крови ведь!

Утирает солдат слезы рукавом шинели: «За что же еще?»—шепчет он губами, перекошенными от боли.

— Распускай роту. Я его поимею в виду.

— Слушаюсь, ваше высокоблагородие,—повернулся живо фельдфебель.

Быстро разбежались по халупам застоявшиеся солдаты. Тихо пошли двое стеганых, широко расставляя ноги. А командир роты вбежал на крыльцо, позванивая шпорами, и обнял дочь старика.

— Не плачь, не плачь, Полинька, жив будет твой папаша. Ну, что ему сделается? Простил я ему, ради тебя, моя милая,—уговаривал он, прижав ее крепко.

Ветер осторожно шевелил растрепанные цыганские волосы Полиньки. Змеей выгибается она в офицерских руках, всхлипывая слезно. А он, сильный, целует

ее, тыча в разгоряченное лицо черные усики. Ощупывает грубо и тащит в отцовскую избу и делает с ней, что хочет.

Бесчувственного старика подняли большой мужик и толстая старуха с засученными рукавами и повели его в избу.

Придерживая под руку старика, просто молвит старуха:

— Всех девок опаскудили, болезней невесть сколько понаташили. Меня намедни повалил солдат в клуне. Что ж поделаешь, старые года, уж сил не стало...

По улице ходят солдаты. Много солдат в нетопленых сараях. По два десятка солдат в каждой маленькой хате в деревне Новожилках. Блаженствует в просторной избе переселенца командир семнадцатой маршевой роты, поручик Пиявкин.

Лежит бесчувственный в чужом углу старик, выстеганный русским офицером за родную дочку Полиньку. «Кому нужна она стала такая»,—шепчет он стариковскими губами.

Слышны по ветру орудийные выстрелы, прилетающие с немецкого фронта. Там русские храбро сражаются за веру православную.

«Наши хуже немцев»,—бредит в горячке старик.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

До первой линии окопов шестьдесят верст. Итти днем нельзя: обстреливают немецкие аэропланы. Темная прифронтовая ночь. На небе ни звездочки. В двигающихся рядах тишина. Никто ни с кем словом не обмолвится. Лишь изредка стукнет прикладом винтовка о котелок, привязанный сбоку. Да взводный крикнет сухо в жуткую тишину:

— Я те покурю, сукин сын!.. Всю роту загубить хочешь? Брось, тебе говорю, харю начищу!

Подходим к местам, где всего несколько дней назад был бой, и русские прогнали немцев. Перепрыгиваем окопы с примятой сверху насыпью. Перелезаем через проволочные заграждения. Под ногами путается проволока, острыми колючками впивается в подолы шинелей. Тут и там разбросана щедро она свернутыми ежами в желтой траве.

Пришедшие из окопов проводники сбились. Ворочаемся назад. Идем по лесу, под ногами трещат сухие, сшибленные снарядами суки. От густой некошенной травы пахнет сыростью и трупным запахом. Кажется — совсем близко, за лесом, лениво тоточет пулемет. С каждым шагом все ближе и ближе становится невиданный фронт. Лесные узенькие дорожки завалены толстыми деревьями, сшибленными снарядами. Винтовки заряжены пятью патронами. У каждого висят патроны на поясах и плечах, вдоль и поперек. Под утро еще темнее, «хоть глаз выколи».

Иду в задних рядах, посматриваю по сторонам в темные силуэты кустов, где, мне кажется, лежат, уткнувшись к корням, убитые солдаты, от которых пахнет мертвечиной.

Неожиданно по лесу раздался глухой винтовочный выстрел. Все остановились.

— Ой-ой... о-ох!..—послышался пронзительный голос.

Фельдфебель пошел на голос, мы, задние, несколько человек, за ним тоже. За кустами нашли двух солдат нашей роты. Один стонет, ползая по земле, а другой встряхивает, точно от ожога, руку в воздухе, и говорит, кряхтя и морщась:

— Выстрел получился, за курок нечаянно зацепили, и ранило.

Подошел ротный Пиявкин, навел свет электрического фонаря сначала на одного, а потом на другого. У обоих молодые небритые лица.

— Что, самострел учинили? Одним выстрелом двоих ранило в руки? Ловко!..

— О-ох... о-о-ой...—стонал, корчась на земле, лежащий, поджав под себя простреленную руку.

— Никак нет, ваше благородие,—оправдывался стоящий,—нечаянно рукавом зацепился за курок, и выстрел произошел.

Два кулака тырчком стоящему с поднятой рукой солдату.

— Иди в строй!—строго сказал командир.—Идите все к чертям! Все прочь...

После двух глухих револьверных выстрелов пришел командир, и рота пошла дальше.

Прошли лес. Пробираемся к передовым окопам по изрытому глубокими воронками полю.

На дно воронки спустился гвардеец, ростом около трех аршин. Он поднял руки: сверх уровня земли оказались одни кисти.

— Эва, какую высадили, двенадцатидюймовым, наверно!—сказал он из воронки, подняв кверху лицо.—Как думаете, если бы кто здесь стоял, шапку с головы сшибло бы?

Сотни прошедших солдат посмотрели на черное дно канавы, и никто не сказал ни слова. У всех одна мысль:

«Скоро опустимся в передовые окопы. Завтра, когда будет темно, в эту пору, будем ли живы?»

А жить ведь каждому хочется...

В ложбине, похожей на глубокую тарелку, заросшей мелкими кустами, остановились отдохнуть и оправиться.

Рассветало. Внизу плотно прилег к холодной земле синий туман. Щелкают молодые зубы. По телу пробегает дрожь.

Надо итти в окопы, чтобы не остаться в чистом поле. С земли поднялся командир роты, сняв с лоснящей головы шапку с офицерской кокардой:

— Слушайте! Недалеко уж до передних окопов. По дороге нас могут обстрелять. Снимите шапки и перекрестите лбы.

Он трижды перекрестился, позевывая, не снимая с руки перчатку.

Вразбивку все поснимали шапки со стриженых голов и сделали то же, переглядываясь между собой.

Баньковский оперся обеими руками на штык и не дотронулся до шапки.

По привычке рука моя потянулась за шапкой, но мысль на полдороге остановила ее. Я вспомнил слова друга Дроздова: «Бога никакого нет, а воевать нам совсем не за что».

Идем ходко по подстывшей, распаханной земле. «Какой же здесь фронт? Что же здесь страшного?» Вот-вот, кажется мне, промычит в тумане наша лысая корова.

Справа зататакал по-куриному пулемет.

Та-та-та...

Опустились по плечи в ход сообщения, ведущий в передние окопы. Идем гуськом по утрамбованному дну, на котором попадаются грязные портянки, носки домашней вязки и ржаная солома с необмолоченным колосом.

— Ну, приехали, маменькины сыночки?!—крикнули, увидя нас, фронтовики.

— Табак е? Позычь на цыгарку,—просит меня круглолицый хохол в шинели, без рубашки.

Выругав сочно за то, что я не курю, он побежал дальше, цепляя полами шинели о земляные стены окопа.

— Давно из Петербурга-то? Как дела там? Мира-то еще не слыхать?—жадно спрашивают подступившие фронтовики.

— Тверских нет?

— Небось, приехали за георгиевскими крестами!

— Заслужат по деревянному...

Сверху окопов из дерна выложены маленькие окошки (бойницы), в них уставлеными дулами к неприятелю заржавленные винтовки, сторожа спокойствие российское. На дне окопа подрыты «места», в них кое-где лежат солдаты, согнувшись в комок. Под боком у кого что: щедро рассыпанный пух, который от малейшего колебания воздуха разлетается во все стороны, чехлы, обивка, содранные с дорогой мебели. А кто из солдат не припас этого, у того под боком ржаная солома с необмолоченным колосом.

— Далеко отсюда до немецких окопов?—спрашиваю некрасивого, обросшего светлой бородой солдата с двумя георгиями на рваной шинели.

Солдат с минуту молчал, а потом сказал нехотя:

— Шагов четыреста будет.

Он безжалостно поскреб рукой спину и добавил, пошевеливая кресты на засаленной георгиевской ленте:

— После разбивки пойдете в наступление, тогда узнаете, где немцы проживают. Они вам, молодым, спину начешут!

— А за что ты кресты получил? В боях отличился, что ли?—интересуется Баньковский, выжимая в руках мокрые портянки.

— Котелок картошки украл у старика да сварил ротному,—вот тебе и два креста пожаловали,—сказал,

проходя мимо, с винтовкой в руке, широкоплечий солдат с выжженным рукавом у шинели.

— Да, да, за картошку, угадал!.. Получи сам ты, попробуй,—обидчиво сказал с крестами солдат вслед уходившему.

С тяжелого, мучительного похода хочется уснуть, забыться.

К вечеру, кто в проходе, кто в свободные подрытые места, потыкалась вся рота. Мы с Баньковским лежим в проходе.

Здесь то-и-дело проходят фронтовики-солдаты, безжалостно наступая нам на спины, ноги и головы.

— Ну, щенки белогубые, как дохлые развалились! Хоть головы всем отрубай—не проснутся,—сказал один, не останавливаясь.

— Встали бы да поглядели, как немец из своих окопов звездочки пускает!—предложил другой хриплым голосом.—Пустит к вам сюда снаряд или бомбочку, и останется от вас только мокрехонько,—в куче лежите! Хорошо, пра, хорошо!

Говорят, проходят, наступают на что попало тяжелыми каблуками.

Никак не согреюсь под мокрой шинелью. Лежу кверху спиной, подложив под голову руки, жду, когда сломают костлявый позвоночник или выдавят тяжелыми сапогами кишки. Сверху за ворот сыплется земля маленькими холодными комочками. Земля скрипит на зубах, слезятся загноившиеся глаза. Заснув немного, проснулся, поднятый холодом. На фронте ни выстрела. Тихий ветерок доносит непонятный говор и стук из немецких окопов. Немцы укрепляют позиции. А в синее звездное небо, освещая небольшое пространство между нашими и «ихними» окопами, летят ракеты, рассеивая в воздухе золотые брызги. Напротив, у

обожженого дерева с большими суками, стоит большая полуразрушенная печка без трубы, с белыми простреленными изразцами. А на железной раскрытой дверке, над закопченным челом, висит ковш, повешенный когда-то хозяйкой.

Над головой у меня перебегает окоп старая дорога с глубокими зарастающими колеями, по которой крестьяне возили большие возы сена и соломы. Здесь несколько месяцев назад была деревня в сто дворов, полная жизни, плохой и хорошей.

Чтобы не застыть, хожу и топочу ногами в полутемных окопах, прячу холодные руки то в рукава, то в карманы шинели. В окопе, у бойницы, с просунутой дулом к немцам винтовкой, дежурит пожилой гвардеец Черемисов. Я в первый раз вижу так красиво сложенного человека. Из трех-аршинного окопа он выглядывает, поднявшись на носки. В полутора-аршинной ширине окопа с трудом мы с ним разошлись. Под черными, густыми бровями гаснут остывшими углями большие глаза. Черные, как крыло ворона, борода и усы как нельзя лучше шли к его мощной фигуре. Точно слоновьи ноги чуть вздрагивают в худых порыжевших сапогах. Руки его не влезают в рукава шинели, и отогревать их ему приходится то под полой, то за пазухой.

— Давно здесь, на фронте, находишься?—осмелившись, спрашиваю я.

Медленно повернул он голову и окинул меня грустными глазами.

— С начала войны, два года вот скоро исполнится,— отвечал он женским голосом.—Что, с этой партией пришел?.. Видать, что новичок,—опять посмотрел на меня и улыбнулся детской улыбкой.—Значит, скоро в наступление пойдем с тобой на немцев?

— Не знаю,—отвечаю я.—Нам еще разбивки не было, в какую роту мы попадем.

— Смерть, брат, во всех ротах днюет и ночует! Все равно, куда ни попадешь, везде несладко.

Он громко высморкался в полу шинели и обтер обратной стороной ладони правильный нос, посиневший от холода.

— Грамотный? Читать знаешь?.. На, прочти-ка письмишко, мне из дому прислали.

Он не спеша расстегнул шинель и достал из кармана красный платок, в котором было бережно завернуто письмо из дома.

— В боях-то был?.. В штыковую ходил?—спрашиваю я, развертывая письмо.

— Десятка, чай, два в штыковую ходил, ни одна пуля не берет, не убило и не ранило вот. Хоть бы руку или ногу прострелила шальная какая. Тогда отправили бы в тыл, отдохнул бы, помылся... Ведь полтора года воды теплой тело не видало.

Черемисов поднял растопыренной огромной рукой полу.

— Всю вот шинель изрешетили, а куда надо ни одна не попала. А люди со мной по нескольку раз ранены... Дома побывали.

Он увлекся разговором и не торопит меня читать, и я любуюсь им, слушая его искренние слова.

— Мальцов только жаль, семь их у меня, а то давно бы надо, как другие, руки на себя наложить. Бывало, на спор, по шести мешков подымал играючи, а теперь, поверь, ноги свои еле таскаю, винтовка тяжела стала... Ну, читай,—спохватился он,—это мой Петька писал.

Засаленное письмо в четыре страницы написано чернилами разборчиво и густо, почерком школьника.

Начинается так: «Во первых строках моего письма спешу уведомить, что мы славу богу живы и здоровы, чего и тебе желаем от господа бога, доброго здравия и благополучия. Тебе низко кланяется твоя любящая супруга Марфа Евдокимовна с детками...»

— Подожди, слушай,—перебил он меня, мило улыбаясь черными глазами.—Четвертый раз читают мне это письмо. Хорошо! Все равно как дома побываешь. Грамотный ежели бы я был, не переставая читал. Что послушаешь, то и поживешь в жизни этакой.

«Еще низко кланяется тебе родитель твой Николай Ануфриевич. Еще кланяется ку...»

Ох-х... ох-х-з... зынь...—оглушительным взрывом на полуслове перебила меня мина, прилетевшая из немецких окопов.

От испуга я очутился под ногами Черемисова. В ушах звенят колокольчики. А сердце, точно ошпаренное, часто бьется о грудную клетку, готовое вылететь. Опомнившись, стыдно глядеть на спокойное лицо Черемисова, который стоит, улыбаясь откровенно и просто.

— Что—испугался? Вот как он угощает нашего брата! Погоди, привыкнешь и ты, бояться не станешь. Иди, погляди; в самые окопы угодил, подлец,—слышишь, стонут?

На синем, звездном колпаке неба светит месяц пятаком огненным.

Небо не изменилось, оно таким же и осталось, каким было всю мою жизнь, ровно двадцать три года.

Высоко оно, не достанешь. А как бы достали его люди, нарыли бы там таких же окопов, как на земле, и стреляли бы сверху вниз снарядами и бомбами. «Хуже этой была бы тогда война»,—думаю я, подходя к месту, где разорвалась немецкая бомба. На дне окопа,

освещенный месяцем, лежит солдат, по пояс засыпанный землей. Черное лицо его, заросшее рыжей бородой, играет мускулами, и он, как большая рыба без воды, то-и-дело широко разевает рот. Три грязных фронтовика в разорванных шинелях торопливо отрывают его маленькими лопатками. Четверо раненых этой разорвавшейся миной пошли в задние окопы и прислали санитаров с носилками. Откопали солдата и положили на носилки с большим кровавым пятном посредине. Опомнившись, раненый начал водить по груди единственно уцелевшей правой рукой, не глядя глазами.

— А где же мой крест?—спросил он слабым голосом.

Солдат с шинелью, выжженной на спине, бросил на свежую землю лопатку и, подняв бледную размочаленную от плеча руку с длинными черными ногтями, положил ее поперек груди умирающему, сказав серьезно:

— На, вот тебе крест георгиевский! Ведь жив не будешь, а все о кресте думаешь... Человек!..

Когда отошли несколько шагов, рука упала с груди умирающего.

Стоявший у бойницы солдат поднял ее и бросил обратно в ноги на носилки.

— Возьмите ее, тухнуть она здесь будет. На том свете ему пригодится.

— Да, готов, скопытился георгиевский кавалер,— сказал задний санитар, пошатываясь от ноши.

То справа, то слева крякают немецкие мины...

Ох-ох-х... ох...

Ш-шшш-ш бббa-бах...—подвывают бомбы нерусские.

Неустанно относят санитары тяжелые носилки с людьми живыми и мертвыми в задние окопы.

А с синего звездного колпака неба все так же светит месяц пятаком огненным, освещая фронтовые поля, изрытые глубокими бороздами вдоль и поперек огромным плугом войны. А в бороздах этих червями копошатся тысячи людей, оборванных, грязных, с ноющими сердцами, в муках несказанных ждущих смерти. И она приходит, отправляет по очереди в путь невозвратный. А если бы не она, избавительница, то мученье, мученье и без конца мученье. Вот она, жизнь человеческая—со звездами и розами!

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

«Наши окопы обстреливают немцы бомбами и минами, есть раненые и убитые»,—телефонируют с передних линий.

«Открыть артиллерийский огонь по неприятельским окопам. Заставить замолчать»,—передает телефон из далекого штаба полка по полевому проводу.

Полетели визгливые трехдюймовки через наши окопы в окопы немецкие.

— Сидели бы да молчали со своими свистульками,— в один голос заговорили солдаты-окопники.

— Раздразнят, черти, немца, засыплет он тогда нас двенадцатидюймовыми. Беда, всех перебьет!

Немец молчит, а наши снаряды по два, по три летят да летят, повизгивая и разрезая воздух.

Ужалил, наконец, немца трехдюймовый снаряд русский. Зашевелился он, встав близко к орудиям. Первым полетел двенадцатидюймовый снаряд и страшно загоготал, сотрясая воздух над нашими головами. За ним залпом мелкие и крупные, осыпая наши окопы и тыл железным дождем осколков.

Шш-шш... Ббба-бах... ббба-ббах...

Шш-шш... Ббб-а-бах... Баббах...

Точно могилы заравнивают наши окопы немецкие снаряды. А в них—людей живых и мертвых.

Я лежу ничком на дне окопа, поджав под себя заряженную винтовку, и ожидаю смерти. Под головой чьи-то ноги в худых стоптанных сапогах с грязными пятками. На спину мне падает сверху большими комьями земля.

— Господи, помилуй, спаси, сохрани, царица небесная... Матушка... господи, помилуй!.. господи, спаси меня, грешного и недостойного раба, прости!..— шепчет солдат, чьи ноги у меня в головах.

— Братцы, умираю, спасите... Ох-о-ох... умираю...— слышится в грохоте голос раненого.

Ж-ж-ж-з-з-р-р...—шлепнулся в сторону окопа снарядный осколок. Лежу, зажмурив глаза, заваленный землей. В голове мелькает отрывками мысль: «Сейчас убьет или живого засыплет разорвавшийся снаряд. Тот читает молитву, нешто помолиться и мне—хуже не будет от того».

— Отче наш... достойная на небеси... господи... Побежим куда-нибудь... Во единого... спаси... убьют... сохрани...—твердит со мной лежащий, дрожа ногами под моей головой.

— Дальше давай... дальше... эва как...—крепко ругаясь, перебегают по нашим спинам солдаты.

— Эй, ты!—толкает солдат меня в плечо ногою.— Будь отец родной... Слышь, милый, бога-ради, христа-ради... меня убьют... пошли письмо домой ко мне... Адрес, конверт в кармане, в шинели вот... Напиши: без вести пропал.

— А меня ежели убьют?

— Я пошлю тогда.

— А тебя и меня ежели?

— Пресвятая богородица, спаси меня,—твердит он безнадежным голосом.—Господи, помилуй, господи, услышь меня!..

— Вставайте, черти дохлые! Слышите, кончилось все!

Подняв голову, я увидел перед собой пожилого солдата в шинели с отрепанным подолом, в грязной помятой шапке с ясной кокардой набоку.

— Что, черти сопливые, вот на фронте-то как!.. Счастливы, снаряд не попал ни один... мокро бы от вас осталось. А в Петрограде кричали, небось: «Мы на фронт, мы воевать», носы кверху задирали. Покурить у вас есть? Дайте. Смерть курить охота!

Солдат, с кем я лежал, принялся шарить у себя по карманам.

— Я все потерял: и табаку коробку и кошелек, бегавши по окопам.

— Идем искать, где бегал?

— Я много избегал, не найдешь, забыл.

— Пойдем, пойдем, покурим,—и потащил его за рукав по узкой яме окопа.

В это время подошел ко мне с обнаженной головой Баньковский.

— Ох, и страшно!—сказал он, колотя о колено шапку.—С ума сойдешь!

— Эх... ты, да ты поседел, брат,—говорю я ему.

— Чего брешешь-то?

Я сделал шаг вперед и указательным пальцем обвел ему клок седых волос выше лба, посередине.

— Врешь, не поверю!

— Дай немного выдерну.

— Это теперь у меня от того,—говорит Баньковский, разглядывая на ладони седые волосы.—Первый

снаряд попал в окоп и отбросил меня воздухом в сторону. Побег дальше, еще разорвался, попал в землянку,—полетели бревна, руки человеческие и ноги. Кусок мяса в рукав мне попал.

Я снял с головы шапку, спрашиваю:

— А я не поседел еще?

— А ну-ка нагнись. Нет, не видно... А где ты был?.. И вшей же у тебя!

Я поскреб голову, обросшую короткими волосами. По привычке, под длинными грязными ногтями увидал две смирных вши.

Опустившись на дно окопа, Баньковский спросил:

— Погляди, у меня есть сороконожки в седых волосах?

При помощи рук я взглянул к корням волос на голову Баньковского и от неожиданности вздрогнул, отвернувшись к глинистой стене окопа.

— Видимо-невидимо, брат! Волос меньше, чем вшей на голове у тебя!

И действительно. Кожи на голове Баньковского совсем не видно. Вши сплошной серой массой копошатся, цепляясь друг за друга торопливыми ногами.

— А я привык и не чувствую,—говорит он, как бы сконфузившись, глядя под ноги на притоптанную землю.

— Есть нету ничего у тебя?

— Нет,—отвечает Баньковский нехотя.—К задним окопам подъезжает кухня по вечерам. Сходи, коли хочешь, и хлеба там дают. Я есть не стану, чорт возьми с жизнью! Свалюсь, может быть. Два дня в рот не брал ни крошки! Все равно убьют, жив не останешься. Завтра разбивка,—куда попадем, в какую роту? Хорошо бы вместе опять...

— Давай что-нибудь сделаем?—перебиваю я.

— А что?

— Ранение сделаем или убежим куда-нибудь. Ведь люди-то делают это, а мы боимся... За что погибать-то? Голову-то класть не хочется.

— Ну, ладно, я пойду искать ямку получше, спать хочется,—поднимаясь, сказал Баньковский, почесывая грязной рукою под рубашкой неопределенного цвета.

Справа отчетливо тоточет пулемет разгулявшейся курицей. Вдалеке изредка гукают орудия угрожающим голосом.

Стучат неугомонные немцы, укрепляя свои позиции. Рядом в окопе поскрипывает котелок с заржавленной дужкой. Иду по окопу, не знаю куда. Держу наперевес в холодной руке винтовку, прикладом наперед. С плеч съезжает расстегнутая шинель, щиплет грязную грудь, расчесанную до крови. Кое-где дремлют у бойниц уцелевшие от перестрелки солдаты, охраняя российское спокойствие.

Иду по узкому окопу. Закрываются неспавшие глаза. Защитные штаны еле держатся на одной пуговице. «Куда девать себя и что делать с собою, когда жизнь невмоготу сделалась?» Как ни обдумывай усталыми мозгами, а не выдумаешь лучше. Прострелить себе руку или ногу, чтобы никто не видал, винтовочной пулей. Не есть до тех пор, пока на носилках не вынесут в ближайший околоток, или сдаться в плен немцам, при удобном случае, с поднятыми кверху руками. А может быть, сейчас или немного погодя оставит меня навсегда снаряд или пуля в этих окопах, как оставляют сотни мне подобных?..»

Иду по окопу с осыпающейся землей. Куда? Зачем? Не знаю.

А орудия все пугают далеким угрожающим голосом, несмотря на то, что на фронте затишье.

В саперной команде, куда нас при разбивке назначили, Баньковского из чесотки образовалась экзема с гнойными болячками.

За лесом в низине стояла палатка (околоток), куда с передних линий ежедневно ходили больные и раненые солдаты. В околоток этот ходил Баньковский лечиться от экземы. Черный фельдшер в серой офицерской шапке клал в бумажку желтой мази и говорил Баньковскому:

— Если есть чистое белье, то смени грязное и натирайся больше этой мазью.

Но Баньковский, не доходя до окопов, оглядываясь, зашвыривал подальше мазь, полученную от фельдшера. А когда приходил ко мне в нору, куда мы с ним прячемся и где находятся наши пустые сумки, то говорил обиженным голосом:

— Не отправляют в Россию, а дают мази. А на кой она мне чорт, мазь эта! В лазарет мне нужно, вот что. Дурак буду я, чтоб лечиться здесь. Неправда, отправят!

Он садится со мной рядом и, не спеша, морщась, снимает ногтями с рук и ног засохшие болячки. Они легко отстают, оставляя красные осклизлые пятна.

Поглядываю на его болячки, с которыми могут отправить в Россию, и завидую ему. Украдкой подбираю и тру ими себе руки и ноги, бока и спину. «А может быть, пристанет тоже»,—думаю я. Проходит неделя за неделей, тело мое нестерпимо чешется, а экземных болячек все нет и нет.

Баньковский, очевидно, заметил историю с его болячками, которыми я украдкой пользуюсь.

Сейчас он, взволнованный, веселый, в землянку пришел ко мне. Таким я его еще не видал. И я не узнаю его.

— Знаешь что, дружище?—говорит он.—Давай мне свое нижнее белье, а ты надевай мое. Экзема болезнь прилипчивая, заболеешь и ты.

Я с радостью скинул с себя рваное, грязное белье и отдал ему. А его белье, с красноватыми пятнами, точно выпачканное спелыми помятыми ягодами, надел на свое расчесанное до крови красными полосами тело.

Переменившись рубахами, Баньковский почему-то рассмеялся, и воспаленные слезящиеся глаза его вмиг повеселели. А от грязного, давно не мытого лица его отскочили пенки грязи, и оно как-то радостно вспыхнуло, загорелось, будто осветило нашу темную нору. Это меня еще больше удивило, и я даже вздрогнул, глядя на него.

Когда мы с Баньковским маленькими лопатками копали это логовище, то в задней стене из земли обозначился небольшой круглый камень иссиня-красного цвета. Камень этот, когда-то свежий и красивый, привлекал к себе наше внимание; теперь, засаленный нашими грязными спинами, высох и не ласкает больше наших глаз. Слева, в боковой стене, страшно выглядывает из ровно обрезанной земли кусок гнилой доски. Там, подальше, думается мне, только копни, есть волосы и кости догнивающего человека. Здесь, в сплошном ужасе смерти, крови и голода, я еще не потерял обоняния. Этот гнилой кусок гробовой доски, распушив ноздри, я пробовал не раз нюхать. Чем-то тяжелым, затхлым, кажется мне, пахнет от него. В минуты раздумья и страшной одичалости я пробовал, стоя на коленях, ковырять этот кусок доски длинными ногтями. Но острый ноготь скользит по сырой осклизлой доске, и от нее ничуть не отковыривается. Загноившиеся глаза мои еще видят неплохо. Впотьмах, внимательно вглядываясь в этот кусок доски, я разбираю какие-то

серо-зеленые и другие красивые оттенки цветов. Только вчера утром, очнувшись в сидячем положении, прислоненный в уголку к сырой стене, я попробовал лизать этот кусок доски,—который показался мне кисло-соленым,—возбудивший мой аппетит.

С тех пор, как мы выехали из Петербурга на фронт, прошло много времени. Теперь этот город единственного неглупого царя Петра (в честь которого назван он) уже не называется Петербургом, а Петроградом. «Петербург,—слово немецкое, а мы с немцами стали лютые враги»,—так говорили нам взводные командиры. Прошли года с того дня, когда мы из вагонов, дико озираясь по сторонам, выгрузились на фронт. С тех пор я не видел ни разу улыбнувшегося Баньковского, с которым повседневно нахожусь. А теперь Баньковский не только улыбнулся, но даже загоготал, притопывая на одном месте ногами. Усевшись и загородив от моих глаз камень в стене, он все еще широко улыбался, показывая больные цынгой десна. Мне сделалось обидно, и я решил спросить его:

— Что ты смеешься все, а?..

Он навел на меня голубые смеющиеся глаза, к которым я не привык и потому боюсь их.

— Что смеюсь? Радость!—ответил он.

— Ну, какая?—удивленно спрашиваю я. А сам думаю: «Не будет ли мне радостно от его радости?»

Он улыбался, каменно молчал, и мне как-то было хорошо от этого. Я живу и радуюсь еще неизвестной мне радостью! «Что за радость у него такая? Не мир ли уже? А ну как мир! Что тогда делать, если мир? Умереть можно от радости!»

Мир—это самая большая радость, о которой ежеминутно думают тысячи сидящих в страшных окопах людей. И я тоже мучительно ухватился за эту мысль.

А когда Баньковский вынул из-под полы в зеленом помятом конверте письмо, я сразу узнал, что оно пришло не мне, а ему, и этому письму он так сказочно рад. За долгое время как мы выехали из Петрограда, Баньковский получил это первое письмо.

— Знаешь что?—подняв гордо голову, радостно обращается он ко мне.

— Что?

— Сын родился у меня! Ходит уж! Брониславом назвали. Помнишь, как я тебе говорил, так и сделали... Брониславом... Ходит... Эх бы увидеть! Неужели не увижу? Пишут: весь в меня!—радостно восклицает он.

Я тоже рад, что мой друг, Баньковский, получил долгожданное письмо. Не меньше рад, что у него родился сын. Я уже мысленно представляю себе, как он учится ходить, падает, ушибается и с неутертыми слезами смеется. Он почему-то кажется мне смуглолицым, с седыми причесанными волосами на большой, как арбуз, голове. Но это не мир! Для меня в этой жизни—короткая радость представить себе сына товарища, только учащегося ходить. А для отца начинающий ходить ребенок только усилит волю к жизни. Теперь я твердо знаю, что Баньковский пойдет на все, чтобы вырваться с фронта и увидать невиданного сына. «Теперь он будет по неделям морить себя голодом. Растравлять нарочно покрывающееся струпьями тело, пока санитары не вынесут его от меня из землянки»,—глядя на Баньковского, завистливо думаю я.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Сидим долго, медленно тает время. Совсем недалеко тоточет пулемет. Над головами, запоздавшими пчелами жужжа, лопаясь, задевая землю окопа, пролетают

немецкие разрывные пули. Опять нечем заняться и некуда деть себя.

Баньковский бережно положил в карман несколько раз прочитанное письмо, лениво шевеля губами, говорит:

— Давай с тобой вшивую гонку устроим, малость подзаймемся, что ль?..

— Какую это гонку?—спрашиваю я, не понимая его предложения.

— Да бега вшивые устроим, как вчера ребята в первом взводе делали, смеху было сколько!

Как и зачем устраивать вшивые бега, я не знаю. Баньковский, не дожидаясь моего согласия, приступил к «делу». Он велел мне послюнявить ладонь, а сам достал из кармана огрызок чернильного карандаша и вывел на моей смоченной ладони почти правильный круг расплывчатой чертой.

Поставив в центре круга точку, он начал разъяснять мне:

— Ну, вот, поймаем по вши каждый у себя, от точки вместе пустим. Какая из них к черте придет первая, та и выиграла.

— Что—выиграла?—спрашиваю я. Мне играть в эту игру очень не хотелось, и я хотел было отказаться. Но Баньковский, вижу, искренно, как ребенок, увлекся ею, и мне не хочется ему поперечить.

— Мы сейчас с тобой загадаем,—тычет он пальцем в центр круга, выведенным на моей руке.—Если, скажем, твоя придет вперед от этой точки к черте, то ты вперед меня домой уедешь—жив будешь. А если моя, то я вперед уеду.

Я понял, а мне играть все-таки не хочется, но я решил не противоречить и согласился. Он нагнулся, завернул подол рубашки и пустил пойманную вошь

на свою ладонь. Я тоже слазил за пазуху и выбрал вошь покрупнее. Держа в своей руке мою руку, опрокинутую ладонью кверху, Баньковский растолковал мне правила предстоящего «состязания». Его вошь, пущенная в круг на моей ладони, была немного поменьше моей, но очень боевая и суетливая. Мне кажется, что она обязательно обгонит мою, придет к черте круга первая. Но если бы Баньковский предложил мне поменяться с ним, я бы наотрез отказался. Во-первых, потому, что она его. А во-вторых, еще ничего не видно. На «деле» будет виднее.

Баньковский, полюбовавшись вшой на своей ладони, почему-то сменил ее—выбрал другую, еще потощее и как будто подлиннее. Когда военные «рысаки» были подобраны и испытаны, их нелегко было пустить на правильный ход. Нам хотелось, чтобы они от центра шли обе вместе и в противоположные друг от друга стороны. Но только нам удавалось поставить их на точку, как они сцеплялись драться. Моя, хотя и побольше, но всегда в таких случаях была внизу, а его наверху и немилосердно кусала моей спину и голову, шевеля растопыренными ногами. У меня устала рука, и мне хочется хотя бы как-нибудь, не по всем правилам, но поскорее пустить их. И были моменты, когда они шли ничего, как будто ровно. Но Баньковский находил, что это не так, не по правилам. (Он, действительно, в жизни был ярый сторонник каких бы то ни было правил.) Так и теперь: от центра, мне кажется, они шли хорошо, но он схватил свою двумя пальцами и поставил снова на точку. Наконец, после долгой возни, отчего стали болеть глаза, устанавливания и перестанавливания, поворота назад, обе пошли. Против нашего желания, параллельно, но зато ровно и в одно время. Половину расстояния от точки

до черты шли, не отставая друг от друга, но вдруг моя встала, как вкопанная, не шевеля ни одной ногой. Мне сначала не нравилась эта игра, но теперь я заинтересовался, мне стало досадно на своего «рысака».

А Баньковский, улыбаясь, подзуживает:

— Моя придет первая! Первая! Молодчина! А твоя устала. Кормил плохо!—восторженно кричит он, больно ударяя своей головой о мою голову, с присвистом, что есть силы стуча в ладоши.

Здесь, в этой яме, шлепки в ладоши кажутся мне гулче орудийных выстрелов; я вздрагиваю, потому что не привык к ним. Взглянув в это время в лицо Баньковскому, которое действительно искренно, по-детски смеялось, и радостно светились голубые глаза, точно эта тощая вошь и вся эта затея несли Баньковскому мир, свободу и спокойную жизнь, с невиданным сыном на руках.

А моя, отдохнув немного, повернулась пол-оборота и пошла совсем в другую сторону—дальше, но мне все-таки стало веселей. Я вижу, что она с каждым шагом наклоняется, как бы прихрамывая на правый бок, и чувствую—приятно щекочет мне руку. Я в роде Баньковского отдался весь и забыл про все, не думая, что со мной и где я нахожусь. Совсем у черты «рысак» Баньковского круто повернул в сторону, а мой доблестно достиг и перебежал ее. Баньковский обидчиво снял свою и, бросив ее на землю, в сердцах, пристукнул по ней несколько раз каблуком. Он и этот пробег считал неправильным, хотел было повторить его еще раз, но, к моему счастью или несчастью, в это время всунулась в отверстие землянки голова нашего уже давно другого взводного, Лизунова, с опущенными светлыми усами.

— Идем таскать начальнику команды бревна на землянку!

— Ведь сейчас светло, и идет перестрелка,—говорит Баньковский, застегивая рубашку с разорванным по пояс воротом.

— Идем, идем живее! Приказ, боевая задача: сделать начальнику землянку во что бы то ни стало.

А когда отошел взводный, Баньковский сказал взволнованно:

— На верную смерть, а иди. Порядки дурацкие, за людей не считают нашего брата! Эх-мма-ма!.. Не смей отказываться.

Слегка морозный день. Безоблачное небо. Не спеша переговариваются винтовки свинцовым предостерегающим голосом.

До леса, где лежат бревна, несколько верст по ровному полю. Саперная команда наша собрана в большинстве из молодых, еще мало обстрелянных солдат. Идем по узкому ходу сообщения, где нагибаемся, а где ползком, чтобы не показывать голову. А когда подошли к концу, надо вылезать на ровное поле, где жужжат рассерженными пчелами немецкие пули, один за одним тридцать человек выпрыгнули, с командиром взвода Лизуновым.

— Кучей не бегай, постреляют всех! Разойдись!— кричит он затаенным голосом.

Нагнувшись, с болтающимися руками, бежим вперебежку по ровному полю, где жизнь человеческая болтается на поседевшем волоске. Разные люди поразному говорят в страшные минуты:

— Господи, спаси!

— Мать твою... мимо уха пролетела, окаянная!..

— Бежать до лесу неблизко, не сдобровать, пожалуй!

— Отче наш, иже еси...

Бегут, спотыкаются, молятся, ругаются.

З-з-з-з-п-п-и-и-и...—летят, попискивая, пули.

Впереди, всплеснув руками, упал солдат, не издав ни звука.

Пробегая мимо, я замедлил бег. Он хрипел, подымая широкие плечи, точно обрубленные крылья. Шапка его лежала на шаг впереди. А живые, сумасшедшие, бежали, не обращая внимания.

«Зачем я выбросил материнскую икону! Нет, не остаться мне живому»,—шепчу я, обегая убитого.

По редкому незнакомому лесу разбросаны толстые деревья с обрубленными суками. Мы, трое, выбрали дерево потоньше и легли рядом с ним на замороженную землю потными животами.

— Взводный, а взводный, подобрать бы надо Петрова-то?—говорит кто-то из-за дерева.

— Молчи, знай, не наше дело! Санитары на это есть, пес угрястый! Молчи, пока сам цел!

Давит до слез тяжелое бревно костлявое плечо. Иду впереди, сзади кто-то говорит мне:

— Выбирай полевее, давай обойдем убитого, как-то неловко смотреть на мертвеца.

— Все равно, пойдем прямо, как люди идут. Чего бояться-то?—отвечаю я, а сам думаю: «Дурак я, зачем иду спереди—ведь меня первого пробьет встречная пуля».

Летают пули заблудившимися пчелками, выискивая, кого бы побольнее ужалить свинцовым жалом.

Ровное поле. Мы у немцев как на ладони. Тридцать человек с десятью толстыми бревнами на плечах. Смотрите, немцы, какие мы, русские, смелые: вы стреляете, а мы идем, идем, безоговорочно выполняя командирский приказ.

Черное пятно убитого солдата, брошенного среди поля, заметно издалека. Он все так же лежит широкой спиной кверху, круто повернув голову, на которой ёжиком торчат короткие волосы. Рот с белыми зубами раскрыт широко, с густой пеной в нижнем углу, а черные, глубоко посаженные глаза глядят на немецкие окопы и, кажется, говорят укоряюще:

«Я еще молодой, за что вы убили меня?»

Когда мы были на полдороге до окопов, часто застучал пулемет:

Та-та-та-та-та... та-та-та-та...

Сбоку упало трое, придавленные тяжелым бревном, и криком резануло сердце:

— О-о-ой... о-о-ой!

— Пулемет! Беги!.. беж...

В это время опустился задний конец бревна, и я, оглушенный, очутился придавленным к земле. Крики. Люди побежали. Закружилась голова. Не помню, как из-под бревна выкарабкался. Бессознательно бегу вперед, потом назад, делая неумные круги. Опомнившись, снова услыхал пулемет. Направляюсь в сторону к лесу. Над головой рвется, жжужа осколками, шрапнель, оставляя в воздухе сизые клочки дыма. В лесу заметил на руке кровь и кричу:

— Ранило... Ранило... Помогите!..

Падаю, встаю и опять бегу, сломя голову, бормоча молитву: «Господи, спаси, господи, помилуй». И, взглянув на кровавую руку, громко кричу пересохшим горлом:

— О-ой, ранило, ранило!..

Далеко в лесу меня остановил солдат без шапки, с разведенными руками.

— С ума сошел! Что ты орешь? Глаза-то вытаращил!

— Ранило меня, ранило!—кричу я, остановившись.

— Садись же, перевяжу,—и с силой усадил меня на землю.

— Ну, где у тебя?

— Да это пустяки, порезана, а не ранена... и бинта не стоит разматывать.

Отдышавшись немного, пришел в себя, разглядел, что рука моя действительно не была ранена, а порезана при падении под бревно разбившейся флягой, от которой осталась веревка через плечо, с подвешенным стеклянным горлышком.

— Какой части?—спрашиваю его.

— Да из одной команды, не узнаешь, что ли? Здорово немец крыл нас, и бревна побросали.

— Вся команда, верно, на поле осталась.

— Хотя не вся, а половину срезало пулеметным огнем... Я шапку где-то потерял.

Оглядываясь по сторонам, он достал из-за пазухи сальной гимнастерки револьвер, поблескивавший стальной чешуей...

— Давай по одной, вот и отмучаемся... Здесь никто не увидит.

Мысль что-нибудь с собой сделать вот уже третий год не выходит у меня из головы.

А вот сейчас, в эту минуту, поглядывая на заряженный револьвер, убить себя мне неохота—боязно как-то. Рассеянный взгляд перевожу на сшибленные верхушки деревьев. Легкий ветерок осторожно покачивает голые сучья, простреленные пулями. Далеко за лесом, кажется мне, есть спокойная хорошая жизнь, какой я еще не жил, но о которой узнал от знающих людей. И мне хочется жить и дождаться терпеливо той жизни. Слушаю, как бьется напуганное сердце мое под грязной солдатской рубахой.

— Чего боишься? Все равно убьют не сегодня, так завтра,—повторил еще раз с револьвером человек.—Эндак еще страшнее. А то вот... раз—и готово дело. Тебе в грудь, а себе в висок. Вот и отмучились. Давай, одному неохота, вместе лучше.

— Стреляйся, если хочешь, я не буду,—ответил я и скрылся за дерево.

— Постой!—крикнул он, держа на курке палец.— Ты не трепло? Смотри, не разболтай кому еще про это. Если скажешь, не жилец будешь, так и знай!

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Ночью, свернувшись в комок в низкой «норе» окопа, бредил и плакал от мучительных снов, которые снятся на фронте. Проснулся, слышится пулеметная трескотня. Баньковский ворочается, почесывая привычно и смело больное, грязное тело.

— Ты не знаешь, какое сегодня число?—спрашивает он.

— Не знаю.

— А день?

— Тоже не знаю.

— А месяц?

— Тоже позабыл.

— А год?

— Год-то знаю, тысяча девятьсот семнадцатый.

— А зовут как тебя, не забыл еще?

— Тебе можно смеяться-то, экзему в госпиталь пойдешь лечить, скоро уйдешь от меня.

— А у тебя как, рубашка-то моя помогает?

— Чешется сильно, а ничего такого не заметно...— отвечаю я, засунув за пазуху холодные руки.

— У тебя хлеба ничего не осталось?

— А ты говеть хотел, чтобы свалиться.

— Я так... не утерпишь,—скучно протянул Баньковский.

Поговорили и встали. В нашу нору потихоньку забралось холодное утро. Робко поднимается солнышко, даря свои теплые поцелуи поровну—что генералу с чином высоким и что простому солдату бесчинному. Генерал далеко от фронта, в просторной избе. На табуретке стоит у него с синей трубой граммофон, по вечерам играет он «Егерский марш». На что генералу солнечные поцелуи в далеком штабе, за десятки верст от опасного фронта.

На тройке вороных ездит он в офицерский клуб. И там целует он напомаженные женские губы. Трогают робко тоненькие пальчики погоны зигзагами генеральские. Чешет «скобелевскую» бороду головная гребенка с драгоценными камнями. Раскупоривают «военные», в защитных новых гимнастерках, приятное вино с звездочками, и за победу российскую выпиваются хрустальные бокалы дорогого вина. А в окопах каждый клочок земли, освещенный солнцем, загораживается грязными телами солдат-фронтовиков. Я хожу взад и вперед по окопу, сложив на груди холодные руки. А у солнечной стены окопа, прижавшись спинами, стоят помятые, невеселые солдаты.

Каждый по-своему встречает солнце. Многие подставили обнаженные головы с взъерошенными волосами, тянущимися к солнцу же. Некоторые выставили волосатые груди навстречу лучам обогревающим, щурясь загноившимися глазами. Скрылось солнце. Вздыхая, люди прячутся в окопные норы, точно в душные и тесные могилы. Так долго тянулось время, шли длинной шеренгой фронтовые мучительные дни, недели, месяцы вперемежку с дождями, солнцем и холодом.

Однажды хмурым ранним вечером, когда в окопы заползала сырость, фельдфебель позвал взводных командиров в офицерскую землянку и сказал коротко, поглядывая в бревенчатый потолок:

— Мы все, ротные и фельдфебеля, были в штабу полка. Ну, так вот что, слушайте,—теребил фельдфебель колкие черные усы.—Ну, теперь отдохнули, в бою давно не были—завтра вечером по всему фронту на полтораста верст будем итти в наступление. Нужно во что бы то ни стало занять немецкие окопы и итти дальше. До наступления, за шесть часов, когда будет бить наша артиллерия, тогда вы объясните солдатам своим, но не раньше, смотрите. Разбегутся... поняли? Идите!

— А проволочные заграждения немецкие как же? Не пролезешь ведь,—спрашивал, сидя в углу, круглолицый широкий солдат, обхватив крепко жилистыми руками колени.

— За шесть часов и праху не останется от них. А еще взводным называешься. Иди, скажи рядовым еще так же. Вот и хорошо получится!

— Господин фельдфебель, а ежели наши снаряды не пробьют заграждений, тогда как? Всех нас положат?—спрашивает тот же круглоликий, с желтой щетиной на неподвижном лице.

— Иди, иди, знай,—мне некогда. Не то... того... С приказом не разговаривают. Знаешь, за это?..

Фельдфебель вышел из землянки налево, а взводный направо. У каждого в такую минуту свое дело.

В день боя, утром, за лесом собираются резервные солдаты в полной боевой амуниции, с патронами и винтовками на плечах. В большом, немного продолговатом кругу стоят офицеры и священник в помятой ризе. Ветер кидает во все стороны короткие

седые волосы, а белая тощая рука то-и-дело поправляет их спереди назад.

Командир полка, заложив руки в карманы шинели с красными отворотами, говорит громко, часто поворачиваясь на месте в забрызганных грязью сапогах:

— Молодцы! Я к вам обращаюсь перед великим, большим делом, от исхода которого зависит благополучие нашей необъятной родины. Сегодня вы, наши доблестные орлы, в один час, в одну минуту на полтораста верст идете в наступление. Артиллерия наша будет бить непрерывно шесть часов, и вы должны во что бы то ни стало выбить врага из укрепленных позиций, доблестно перешагнуть окопы и победоносно следовать дальше в тыл врагу... до Вены, Берлина, с божией помощью!

Вздохнув, солдаты безнадежно переглянулись в ответ на генеральскую речь.

В головах их промелькнуло: колючее заграждение, которое так храбро не перешагнешь.

Предстали перед глазами большие далекие города Берлин и Вена, до которых с божией помощью дойдут они с заряженными винтовками, штыками наперевес.

Священник оправляет седые короткие волосы благославляющей рукой и кидает протяжным страдальческим голосом «благочестивые слова» в обнаженные головы.

— Братья и воины, защитники веры христианской! Вам многим придется умереть за народ и многострадальную родину нашу. Но не смущайтесь: вы исполните присягу, данную перед богом. За вас молит вся страна, церковь православная, дети и жены ваши, жаждущие спокойствия и мира земного. Благословляя вас крестом святым и евангелием, я буду молить

господа о спасении душ ваших. Да не усомнятся маловеры, душа моя будет вместе с вами и будет ободрять вас!

— Послушайте, батюшка... священник... Мы тоже не пойдем, как и ты, воевать, пусть идут в наступление души наши!—крикнул звонкий голос из задних рядов.

Зашевелилась солдатская серая масса, послушная неожиданному звонкиму голосу. Долго искали и перетряхивали каждую шинель. Отделенные, взводные и ротные искали, и сам генерал с седым бобриком и бледным от досады лицом. Искала и та отчаянная голова, которая подняла всю эту бурю в солдатской массе. Но не нашли звонкого неожиданного голоса. Острой занозой воткнулся он в солдатские мозги.

В назначенный час полетели к немцам невиданные птицы из пушечных жерл, напевая смертельную песню, знакомую одним фронтовикам.

У-у-у-у-у-у-у-у... у-у-у-у-у-у...

Туманом стелется на полтораста верст снарядный дым. В воздухе пахнет порохом и каленым железом.

Ходят в окопах с ноющими сердцами обросшие бледнолицые солдаты в ожидании страшного: «Вылезай из окопов»...

Ба-ба-ба-ббах...—рвутся снаряды сзади и спереди, поднимая на воздух мороженую землю, толстые бревна, размочаленные куски человеческого тела. Все это разбрасывают в ответ немецкие снаряды на полторы сотни верст кровавыми брызгами.

Перед боем есть не велено: в тощем желудке лучше пуля не запутается, но курят жадно, проглатывая, у кого есть табак, папироску за папиросой. Саперная команда наша в наступление не идет, и я сижу в тесной землянке, в которую пуля не залетит, а снаряды с корнем ее выкорчуют, если попадут метко.

Круто поставленные коленки мои упираются в подбородок. Защитные штаны у меня—только слава: худые и корявые. На правой коленке сидит большая, как лепешка, засохшая болячка, лопнувшая пополам от согнутого положения. Из-под нее течет водянистая сукровица, и коленка нестерпимо чешется. Я терплю— «наплевать, время придет, созреет, сама отвалится». А левую коленку исцарапал отпущенными ногтями, по ней потихоньку ползет большая распухшая вошь, и я осторожно дую ей в спину, светлую, ясную. А она не боится, ползает помаленьку, будто кряхтя, перелезая кровавые царапины: «Не трону, ладно; живи, пока я жив. Убьют меня, пропадешь и ты»,—вслух говорю я ей, непонимающей.

Проходят страшные минуты. Я вытащил из дна шапки заржавленную иголку и, заинтересовавшись, принялся считать у вши ноги, живые, торопливые.

— Что ты оглобли-то свои поднял кверху! Издыхать, што ли, собрался?—в узкое отверстие неожиданно крикнул солдат.—С ума сошел, должно быть. Еще говорит с кем-то?

Я молчу. Солдат повернулся ко мне спиной, с прожженной желтым полукругом шинелью. Он крестится, суетливо махая руками, низко нагибаясь.

— Господи, спаси... господи, помилуй... Пресвятая богородица, спаси мя... Уж самому, што ль, руки наложить на себя? Прощайте, мои милые! Живите!..

Опомнившись, повернулся ко мне мокрым лицом, злыми плачущими глазами.

— Что ты, как сыч, глядишь на меня? Ох... господи, боже мой! Курить есть у тебя?—спрашивает он меня, хватаясь за голову.

— Нету.

— Ну, иди к...—и отошел от меня, что-то бормоча.

Подкралась железная стрелка к роковому «6» на генеральских часах в далеком штабе, каждому окопнику острым концом колет она сердце.

Всего несколько дней назад моего друга Баньковского отправили в госпиталь. Оставшись один, я ему завидую. Он хотел жить, а чтобы жить, надо заболеть. И он это сделал, умышленно растравляя на своих ногах экзему, привязывая к мокрым ранам большие старинные пятаки, найденные им во время рытья окопов. По неделям ходил он, не отвязывая их от опухших посинелых ног. Уходя в госпиталь, он оставил мне два пятака. Таких язвин у меня нет, и я не брал от него этих пятаков. Он сказал, жалеючи:

— Возьми, расковыряешь где-нибудь, да привяжешь, разболится. От меди скоро заболевает больное место. Землицы под пятак положи, сольцой присыпь маленько. Жить захочешь—все, брат, сделаешь. Я по неделям не ел, а ты барин, что ли, разве не вытерпишь?

Я пробовал было четыре дня не есть, а на пятый выхлебал котелок чечевичной похлебки—сделался веселее. Пробовал привязать к больной коленке пятак, а он не держится, съезжает, и нога не шибче заболевает.

Собрался вчера отрубить маленькой лопаткой пальцы на левой руке, а сказать, что оторвало бомбой. И этого не сделал—не хватило смелости.

Так и сижу—беспомощный, погромыхивая в кармане медными пятаками. Грязная рубашка, пропитанная сукровицей болячек Баньковского, на мне несколько месяцев, тело сильно чешется, а болячек не видать. Когда был дома, мать говорила: «Какой квелый ты у меня, Мишка, болеешь все». А здесь только обессилел, кружится голова, а не сваливаюсь, хожу, пошатываясь во все стороны.

Перед отправкой на фронт нам делали уколы в руки, в грудь, в спину. «От них, наверно, заболею, действуют на болезни прививки эти»,—думаю я в эту минуту.

Вблизи разорвался снаряд, завалив землей окоп и вход в землянку, где я сижу. И я не испугался,—как сидел, так и сижу, обхватив колени холодными руками. Только сердце, точно ужаленное горячей иглой, стучит неровными толчками в грудной клетке. Какая мучительная жизнь! Не знаю, почему не седеют черные волосы на моей голове! Почему не помутится ум от всего переживаемого? Еще есть чем дышать: осталось маленькое отверстие от входа в мою землянку. Тоненькой ленточкой серебрится это отверстие, в которое дышу и гляжу загноившимися, больными глазами.

Стонет растревоженная свинцом и железом земля. И серебристая ленточка в моей землянке становится все шире и шире, земля оседает. За ворот, по спине течет холодная земля. Скрипят и щелкают зубы. Не разгибаются застывшие руки и ноги. Но еще бьется неугомонное сердце неровными глухими толчками, и я живу, посматривая в узкую ленточку света и воздуха!

Перед глазами в темной яме вспыхнул слабый огонь. Облокотившись на комкастую землю, вглядываюсь в выходное отверстие. Огонек потух и снова появился. Спиной ко мне сидит на корточках солдат с поднятым у шинели воротником и в низко посаженной шапке. В одной руке держит горящую спичку, а в другой грязный носовой платок с фотографической карточкой, которую он крепко целует и шепчет вполголоса:

— Прощайте, мои милые, живите с богом без меня! Чувствую, живому не остаться мне. Прощайте!

Спичка потухла. Долго чирикает, скрипит зубами, шмыгает носом, ворчит по-звериному что-то страшное, непонятное. Снова в жуткой тьме слабый огонь.

— Милый сынок, расти без меня! Помни отца, мой кровный!

Опять мнет и целует, скрипит зубами, прижимая карточку к губам, заросшим бородой и усами.

— О-о-о-х, чувствую я, не быть живому! О-о-о-ох, батюшки!

Гаснет спичка. И он падает на землю ничком, тиская в объятьях дорогую карточку.

— Чего ты плачешь, может, жив еще останешься?— спрашиваю я осторожно, не вытерпев.

— Нет, сердце сосет что-то... Страшно!—отходя, говорит он, пряча под полу карточку с любимой семьей.

— А ну-ка, выходи! Вылезай!—зашумели в окопах маленькие начальники.

— Куда, куда побежал?!

— Цепью, цепью пошел!

— Вылезай, тебе говорят, на месте положу!

— Господи, спаси, что же это такое?!

— Убью, выходи, вылезай живо!

— Чего хнычешь, баба? Вылезай!

Сверху в окопы посыпалась потревоженная земля. Кто отстал, кто выдался вперед из общей людской цепи, но все ползут, ползут и идут с окаменевшими сердцами, стиснув в дрожащих руках заряженные винтовки. Искрясь яркими звездами, освещают тьму немецкие ракеты. В это время цепь замирает на месте, плотно прильнув к холодной земле. Меркнут ракеты, снова ползут люди, готовые на смертельную горячую схватку, спасая жизнь свою. За первой цепью—вторая и третья...

Заметили зоркие немецкие глаза. Заговорили зубастые пулеметы, пронизывая свинцовыми пулями солдатские тела.

Та-та-та-та... Та-та-та-та...

— Урр-а-а-а!—донеслись слабые голоса...

— А-а-а-а,—ответили глухо леса и перелески.

На поддержку наступающим цепям изредка летят, посвистывая в воздухе, «меткие» трехдюймовые русские снаряды. Рвутся они, делая «недолет», по своим наступающим цепям.

— Измена! Продали!—слышны голоса солдат, добиваемых своими же трехдюймовыми русскими осколками близко от немецких окопов.

Слышны слабые разрозненные голоса на полтораставерстном пространстве.

Тьма, жуткая тьма окутала леса и перелески! Слабо светят звезды сквозь дым и копоть, даря умирающим последнюю ласку. Изредка летят из земли немецкие ракеты, рассыпая золотом светящие брызги в жуткое пространство, заваленное мертвыми и умирающими людьми!

Все еще перекликаются свинцовыми четкими голосами пулеметы, заметив «живое», копошащееся, серое, русское.

Та-та-та-та...

— Ой, ой... о-о-ох...—отвечают в темноте предсмертные голоса.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Опустели окопные норы, где только вчера кучами копошились оборванные грязные люди. Куда-то ушли и не вернулись. А по окопам разбросаны грязные исподники и рубашки, худые и крепкие, домашние

чулки с проносившимися пятками и закорявленные потные портянки.

«В гости ушли, грязное бросили, чистое надели»,— думаю я, идя за обедом в задние окопы с двумя котелками со скрипящими дужками. Против землянки, где сидел я вчера во время артиллерийской стрельбы, поднимаю мешочек из дорогого бархата, грубо сшитый домашними белыми нитками. В нем были все солдатские принадлежности: пуговицы роговые и медные с двуглавыми орлами, крючки и петли от казенных шинелей, гривенник и два серебряных маленьких пятачка. Медная иконка с «Георгием» на коне, клубочек ниток, которыми сшит этот мешочек. А по мягкому красному бархату с лицевой стороны неуклюже выведено белыми нитками: «Федор Черемисов».

Вспоминаю солдата-великана Черемисова, с которым по приезде на фронт встретился в окопах. Ему, неграмотному, читал я письмо, присланное из деревни его сыном Петькой, который две зимы учился, а потом надоело—бросил.

Помню, как внимательно слушал он, дыша в мое ухо. Знаю, каким огнем горели его черные глаза, когда он говорил о жене Марфе с невыращенными ребятами. А теперь, рассматривая этот мешочек с пуговицами, думается: «Жив ли этот слон-человек? Красоты подобной я не видел и не увижу больше! Как и при каких обстоятельствах потерял он драгоценный мешочек?»

Около дымящейся кухни с помятой трубой вместо обычно большой очереди стояло с десяток, с осиротелым видом, солдат. Скуластый, с черными маленькими усиками кашевар Чесученко, скребнув о дно кухни железным черпаком, присаженным на большой осклизлой палке, сказал:

— Лопайте, нате! Вот счастливчики, пра, счастливчики, не жалко! В штабу говорят, от пяти тысяч в нашем полку осталась одна тысяча только, все полегли буйными головушками. Ох, и крылья же, сукин сын, образина немецкая!

— Измена, брат, измена все,—вздохнул солдат, вытаскивая из-за голенища алюминиевую ложку.

— Мало будет, еще приходите!—кричит раздобревший в этот раз кашевар.—Все равно выливать, лучше съедите.

Опустившись в ход сообщения, я сел, обняв коленками теплый котелок, наполненный мутным супом, из которого выглядывали красные куски упревшей говядины. Хлеба нет, ложки тоже,—жалко, потерял где-то. Грязными руками достаю теплые куски говядины и жую, жадно прихлебывая через край котелка с нечеловеческим аппетитом. Всего не осилил. Оставшиеся куски завертываю в тряпочку, кладу бережно в карман.

«Съем, когда есть захочется»,—думаю я, вытирая полой сальный подбородок.

На другой день, вечером, когда седые потемки скрыли от глаз опушку леса, где находятся немецкие окопы, рыжебородый взводный с георгиевским крестом выгоняет из окопов нашу команду и всех уцелевших от наступления солдат.

— Выходи! Выходи! Вылезай!—кричит он повелительным голосом.—Надо подобрать людей, другие сутки валяются. Пошел, пока немец не стреляет; начнет, худо будет: подбирать нам так и этак придется.

Нехотя, друг за дружкой вылезаем мы из глубоких окопов. Тихий безветреный вечер. По всему фронту не слышно ни выстрела. По телу пробегает дрожь. Идем, крадучись, по четыре и по два. Изредка

огненными птицами вылетают ракеты из немецких окопов, освещая жуткую фронтовую тьму.

Идем редкими зигзагами, а при свете ракеты приседаем и ложимся на землю, тонко покрытую снегом. Лежим двое на низкой луговине, положив на согнутые руки обросшие редкими волосами подбородки.

При свете ракеты волосы под шапкой поднимаются дыбом. Впереди продолговатыми серыми кочками в беспорядке разбросаны мертвые люди. Дальше немецкие проволочные заграждения в три ряда. А на них длинными серыми мешками повисли русские солдаты!

У меня перед глазами кустик прошлогодней травы. Я смотрю через него, ловя ртом сухие стебелечки.

— Тебе страшно?—спрашивает лежащий рядом солдат.

— А тебе?

— Страшно! Я не знаю, как потащу. Я боюсь мертвецов!

— Я тоже боюсь, неловко как-то,—говорю я.

— А если стрелять будут, тогда как?

— Лежать будем, лежачего лучше не убьют.

— Хорошо бы, бог дал, остаться живым,—надвигая шапку потуже, говорит он.

— Пойдем, возьмем одного, а то замерзнем, на животе лежа,—говорю я, пряча в рукава шинели застывшие руки.

— Как ты думаешь, брат, за что висят они?.. погибли?.. Сирот сколько—не пересчитаешь—оставили,—спрашивает солдат, играя мускулами на лице.

Я не знаю, что ответить ему на жуткий вопрос, о котором думаю часто сам, глядя на жизнь окружающую.

— Как сказать, и кто знает, ежели вот сейчас нас с тобой убьют... А за что? Денег у нас с тобой

нет, земли с лесом тоже. Все здесь. Правильно забастовщики говорят: царя с престола снять надо.

— В нем сила, пожалуй, в царе. Это верно!—соглашается он.—Мы сами не знаем, за что умирать пришли. Бей! А кого, за что и почему,—не разговаривай! За войну за эту его на воздух с семьей поднять надо. Чтобы потомства от него не осталось.

— А ежели сядет на его место другой?—спрашиваю я.

— А другого сажать не надо—в нас сила вся, в народе, только трудно сговориться,—сказал он, блуждая глазами по полю.

Бежим согнувшись, он с палкой, а я с палаткой.

— Давай этого,—шепчет он,—старик какой-то.

Убитый лежит на спине. При освещении ракеты видно лицо, рыжую бороду, в которой белеет замерзшая слюна. Глаза неестественно открыты, блестят стеклянными белками. Рядом лежит винтовка с расщепленным прикладом. Ни ран, ни крови не видно. Разостлав палатку, солдат взял за ноги, обутые в сапоги с короткими голенищами, а я за плечи с широко разведенными руками, сжатыми в кулаки. Наспех завязали концы палатки, просунув палку, и понесли, пошатываясь. Палка короткая,—холодная голова мертвеца с колкими волосами упирает мне в живот и не дает ходу. Мне жутко, неловко, я стараюсь не глядеть на покойника, на его веником торчащую бороду, запрокинутую голову и белую шею. При перешагивании окопа узел с моей стороны развязался, и мертвец упал с головой в окопную яму. Внутри у него что-то булькнуло и перелилось подобно тонущей в воде бутылке. Около задних окопов вырыта глубокая яма на пятьдесят человек, уж наполовину наполненная мертвецами. Спустили и мы рыжебородого старика с открытыми

глазами. Пара за парой подходят солдаты с тяжелыми ношами. Умело выворачивают привычные руки холодные карманы, и яма быстро заполняется.

— Что ж, батюшка придет отпевать, аль так зарывать будем? Православные ведь,—заметил кто-то из солдат.

— Зарывай поскорее, какое тут отпевание! Тысячи разве отпоешь, на всех попов не хватит. Не дома, чай. Всех черви съедят, и не отпетых,—ответил фельдфебель-сапер, руководитель работ.

Дружно работают саперные ясные лопаты, изредка скрежеща о мелкие крепкие камни. Не стучит о гробовую крышку комкастая подмороженная земля, а падает мягко на того, кому надо было бы ходить по ней и вызванивать твердыми, радостными шагами! Наскоро забросали и ушли, оставив поверх насыпи высунутую по локоть руку с грозящимся указательным пальцем.

Проходя большие глубокие могилы со свежими насыпями, чувствую, пахнет кровью предрассветный холодный туман. Кажется мне, что шевелится рука мертвеца—грозящая, страшная. Колышутся могильные насыпи, ворочаются мертвецы, силясь вылезть из душных могил. Остановился, пригляделся, подумал. Кругом идет очумевшая голова, все слилось, перемешалось: снаряды, пулеметы, проволочные заграждения, увешанные холодными мертвецами. «Ну конец, совсем сошел с ума!»—думаю, то хватаясь за голову, то махая руками.

Не помню, как очутился в землянке.

— Ну, выходите, живо! Куда забились? Таскать надо. Все поразбежались, черти!

Узнаю голос взводного. Вышел, обрадовался живому человеку. Прижавшись к стене окопа, стою и думаю о случившемся. А взводный ведет другого.

— Последнего. Больше не пойду нипочем. Хоть убей—не пойду!—говорит солдат, засунув руки в карманы.—Девять человек принес, за десятым гонишь, а другие ни одного не принесли, попрятались в окопы и сидят себе.

— Иди, иди, тебе говорят, Оврагов, все таскают, не ты один.

— Знаю я, как таскают! На одного напер, хоть издохни, а таскай.

Вышли из окопов, идем по ровному полю к немецким окопам.

Впереди в высоко-звездном пространстве висит большим желто-красным шаром луна.

Оврагов идет впереди, будто не боится, развалистой походкой.

Его пехотная шинель похожа на кавалерийскую, разорвана до пояса, рваные штаны не прикрывают сильных волосатых ног, которые он не поднимает, а тяжело двигает, собирая, точно лопатами, до травы снег.

— О-о-ох, замерзаю, братцы!—послышался неожиданный голос, резнувший сердце.

— Пойдем, возьмем, раненый наш за кустами лежит.

— Ладно, всех не перенесешь,—сказал Оврагов, остановившись.—Знаешь что, давай в плен к немцам сдадимся!

В то время, когда Оврагов предложил мне сдаться в плен, я сам думал о том же. «Самый подходящий момент»,—говорил я себе.

— Давай перенесем его, а потом сдадимся.

— Ну его к чорту! Другие подымут. Пойдем, пока близко немецкие окопы,—настаивает Оврагов.

Я растерялся, не знаю, что делать. Тыкает в сердце голос умирающего.

— Пойдем, перенесем: умирает ведь человек,—прошу я убедительно.

— О-о-ох, спасите!..—слышится голос.

Оврагов злобно взглянул на меня, оголив широкие белые зубы.

— Если не пойдешь, то вот—мне все равно! Понял?—и показал мне из-под полы револьвер, который блеснул синевой при свете луны.

— Пойдем, снесем, потом, ей-богу, сдадимся,—испуганно говорю ему, озверевшему.

— Пойдем, а то без смеха! Мне все равно. Понял? Заявить начальству хочешь, знаю я, не маленький!

Идем быстрой походкой. Попадаются убитые в разных позах: вытянутые в струнку и согнутые в комок. Подходя близко к немецким окопам, подняли кверху руки. Сердце бьется неровными глухими толчками: «Вот убьют, вот убьют». Остановились у проволочного заграждения с поднятыми кверху руками.

— Сдаемся, сдаемся!—кричит Оврагов сильным голосом.

Сжимается кожа на груди в ожидании пуль из близких враждебных окопов.

«Расстреляют, сейчас расстреляют, убьют, не примут»,—шепчу я, стараясь поднять как можно выше руки. «Вот убьют, вот убьют»,—выбивает испуганное сердце...

Молодцевато выбежали из окопов с пустыми руками два немца в белых утюженных рубашках и острых касках, указали по направлению к русскому раненому.

— Дорт лигт ир фервундете зольдат, траген зи ин ир лазаретт[1],—и жестом заставили нас опустить руки.

[1] Там лежит ваш раненый солдат, отнесите его в ваш лазарет.

Подошел третий, с лихо закрученными рыжими усами, держа в руках носилки с полированными ручками, и сказал то же самое. Было понятно. Оврагов взял носилки, и мы пошли назад за своим раненым, который стонал, прося помощи, вот уж трое суток и надоел немцам.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Проходя по тому месту, где недавно была деревня, нам попалась подпольная яма, до края наполненная водой, а в ней два мертвых солдата. У Оврагова разболелся живот, и он здесь, на глазах у немцев, побоялся присесть, оставил меня одного, сам убежал в кусты, и мне одному представилось возможным увидать даже здесь, на передовых позициях, редкую картину.

Яму затянул зеркально чистый ледок. В центре поверх льда, согнутые в окровавленных коленях, торчат ноги, обутые в порыжевшие сапоги. На краю ямы, у моих ног, ткнувшись по пояс в воду, еще вмерз человек. Обходя другой раз яму, вокруг которой разбросаны покрытые тонким слоем снега камни и кирпичи, глядя на все это, я думаю: «Каким образом здесь, в этой яме, погибли два человека? Ничем не защищенное место. Два дня назад мимо него летели сплошным дождем пули, снаряды и бомбы. Неужели они от страха перед смертью бросились в эту яму очумевшими головами? Или их, подбежавших к яме с винтовками в руках, сразила немецкая пуля? А может быть, спасая жизнь, прятались они от пуль в воду, их ранило осколками снаряда, и они утопли?»

Оврагов не идет. Мне хочется узнать, что эти люди, чьи ноги торчат поверх льда,—молодые или старые,

безусые или с длинными бородами? При свете луны я пробовал наступить на лед, встать на колени и прислониться лбом ко льду, разглядеть их. Но лед трещит, ломается, и мне боязно провалиться к мертвецам, на дно ямы. Задев плечом за ногу мертвеца, я пытаюсь сквозь лед разглядеть его лицо. Напрягаю зрение, кажется мне, пузырится и пенится вода подо льдом, а лица мертвеца не видать. Сев на берегу ямы, рядом с застывшими ногами мертвеца, мне думается, что подо льдом, на дне ямы есть еще много утопленников. Все мертвецы в этой яме, лиц которых я не вижу, будто кажутся мне с длинными бородами, разбитыми, исковерканными лицами, а потому и страшные.

Но я не боюсь их.

Смотрю на торчащие около меня две ноги, из которых одна кем-то разута. Новая холщевая портянка, очевидно, только перед наступлением полученная из дома в посылке, наполовину размотана и резко оголила сильную белую икру, обросшую черными волосами. Другая нога, обутая в большой сапог русского гвардейского солдата, не касалась берега и застыла навесу. На каблуке сапога прибита большая железная, точно лошадиная, подкова, местами еще ясная, местами, как веснушками, усеянная ржавчиной. Костяшками кулака я с любопытством постучал по ней. Точно замороженная земля, глухая, цельная показалась мне эта нога. Попробовал прислонить к подкове послюнявленный палец,—к ясному месту палец примерзает, и я больше не стал этого делать.

Вглядываюсь в большую, сильную ногу без сапога. Я хотел было, взявшись за конец портянки, совсем оголить ее. Но портянка прилипла к ноге, и я увидел на белом теле замерзшую кровь. Нога в этом месте оказалась переломанной и поэтому не касалась земли.

Поднявшись было уходить, я заметил поверх льда, у широкой голой поясницы, с правого боку, железный затылок приклада. Русский гвардеец, мертвый, по пояс головой в воде, с переломленной ногой, все еще держит в правой руке под водой заряженную винтовку с трехгранным штыком. «Да, большой, огромный, видать по ногам, человек,—думаю я.—Неужели это тот Черемисов, чей мешочек недавно нашел я. Неужто это над ним, над великаном-красавцем насмеялась так злая судьба?..»

Холодная рука пошевеливает в кармане шинели бархатный мешочек Черемисова. Вглядываюсь к кустам, не идет ли Оврагов. Если придет, я буду просить его подсобить вытащить из ямы этого мертвого человека, только потому, что он очень большим кажется мне. Оврагов все еще не идет: «Что-то долго, куда девался он?»

Я вспомнил Черемисова, его черные светящиеся глаза, детскую улыбку в губах, окаймленных иссиня черной бородой.

Сбоку, совсем недалеко, затрещал немецкий пулемет. Где-то далеко простонал слабым голосом раненый.

«Нет Оврагова. Что я буду делать один среди поля убитых и раненых?!..» Усталый взгляд перевожу то на немецкие окопы, то на торчащие передо мною поверх льда четыре ноги совсем недавно живых и думавших людей.

«А дома родные ждут и все глаза проглядели. А они вот мокнут в этой яме, подо льдом...»

Совсем близко не переставая тоточет пугающим голосом пулемет. Работают возбужденные мозги. До боли шибко бьется сердце в исхудалой груди. Уши мои слышат, как то пищат, то жужжат, разрезая

воздух, свинцовые пули. И я не боюсь,—как стоял так и стою у перешибленной ноги мертвеца.

Взглянул в далекое синее пространство, где висит круг луны, который теперь кажется мне красноватым.

«Как мир, далека сейчас луна от меня,—говорю я себе,—но зато как близко, совсем рядом, смерть, летающая над головой у меня в свинцовых невидимых пулях, злое шипение, которых слышат мои уши и сердце! Неужели так же вот, как им, чьи ноги торчат из воды сверху льда у меня перед глазами, придется умереть мне на этих полях, вдали от избушки с маленькими окошками?!» Мне страшно, шевелятся волосы под серой шапкой на моей голове при представлении того, что у моего гроба не будут стоять и плакать: мать, отец, соседка, бабушка Арина, мужики, бабы всей нашей деревни. Вот чего до жуткости боюсь я, и вот что очень пугает меня!

«Да, мир будет тогда, когда луна будет кроваво-красной, от которой сделается темно на земле. Когда она, точно жадная сухая губка, наберется досыта крови с земли...»

В это время на мое поднятое лицо упала крупная снежинка. Я испуганно смахнул ее с лица и посмотрел на грязную руку. «Нет, это простая крупная снежинка, которой я рад, а не кровавая капля с луны. Мира нет, и с луны кровь еще не капает».

До меня долетел давно не слышанный голос умирающего, и я испуганно схватил носилки, спотыкаясь на кирпичи и камни, побежал на него. Пробежал двоих убитых, тонко запорошенных, как скатертью, снегом. Вдали увидел идущего на меня живого человека. Я еще пуще побежал к нему, прочерчивая ручкой носилок по снегу до травы.

Очутившись рядом, я узнал Оврагова.

— Где ты был? Я замерз было, ждавши тебя,—и, не щадя ног, бью сапог об сапог, разогреваю озябшие ноги.

Вид у Оврагова казался мне весело возбужденным.

— Где был? Денег нашел! А тебе что?—говорит он резко и вызывающе, как бы бахвалясь собой.

— По карманам шарил?

— А что ж, нешто нельзя? Им больше не нужно!

У меня денег с полгода нет ни копейки, и здесь, на фронте, я никогда не думаю о них.

И теперь, глядя на веселого Оврагова, у которого полны карманы кошельков и денег, спрашиваю:

— А на что они тебе здесь?

— Да так, может быть, ранят, домой свезу.

— А если убьют?

— Тогда пусть у меня вытащат, все лучше, чем пропадать без дела будут. На тебе, хошь кошелек? Смотри, слушай—серебро гремит...

Я не взял. И Оврагов бросил кошелек далеко кверху, и он упал черной точкой в свежий, незахоженный снег.

— Там медяки одни. Тяжелые... На кой они чорт!

Долгое время неслышный голос опять прокричал:

— Спасите, ох, замерзаю!..

Идем на голос. А Оврагов говорит мне, разглядывая носилки:

— Вернули, сволочь, немчура проклятая! Ты мотри, не скажи кому, что я тебя насильно в плен тащил. Убью тогда! Мне все равно. А носилки, скажем, нашли за кустами. Понял? Не скажешь?

— Не скажу, не бойся,—говорю я, вспомнив немецкий прием.

— Врешь? Не скажешь?—пристает он.

— Сказал нет,—значит, не скажу.

— Перекрестись три раза на небо,—словам не верю.

Перекрестился.

— Скажи: ей-богу.

Сказал.

— Ну, ладно. Теперь посмотрим, верен ли ты своим словам, а то ведь, чтобы было шито-крыто, я думал застрелить тебя.

— Будет тебе городить-то чего не дело. Пойдем поскорее, не слыхать что-то—не умер ли?

— Умер, так и чорт с ним! Тащить удобнее,—сказал он, почесывая голову.

— Неужели тебе не жалко?

— Ни капли,—потряся головой, спокойно ответил Оврагов.

— Ну, и человек же ты!

— Мотри, не скажи!—еще раз погрозил он, нащупывая револьвер за пазухой.

Идем. Слушаю жадно. Неужели умер? Издалека увидели в шинели ничком вытянутого в струнку солдата.

— Вот он, готов,—сказал мой спутник и, завернув шинель мертвеца на голову, пощупал спину.—Нет, это не тот. Давнишний этот, холодный.

— Заберем полевей, там нет ли,—говорю я.

Прошли еще несколько минут по мелкому кустарнику с облетевшими листьями. Лежат двое скрюченными фигурами, с шинелями, завернутыми на голову. Щупаем,—опять не он, холодные, давнишние.

— Давай полегче выберем, да и понесем.

— Пойдем дальше,—говорю я.—Раненого не найдем ли.

— Вон того давай,—указал он рукой,—все равно дороже не получим за это.

«Жаль раненого, кричал долго. Неужели умер, не дождавшись несколько минут? Хоть бы простонал разок!»—думаю я.

— Давай этого, слышишь?.. Куда пошел? Не все ли равно?

Вдруг за кустом, совсем рядом, послышался голос. Сделали несколько шагов в сторону, за куст, и меня охватила радость, которую не передашь и не выскажешь. На меня глядит черными умирающими глазами тот самый богатырь Черемисов, которого я только что вспоминал, кому я когда-то читал письмо. Рядом валяется винтовка, уже запорошенная снегом, а он лежит на спине, поставив ноги коленками кверху. Он тоже узнал меня и шепчет, вытирая слезы огромными посиневшими кулаками:

— Спаситель ты мой! О-о-о-ох!

Шинель и гимнастерка его разорваны сильными руками. На простреленном животе засохла почерневшая кровь, и человек, с силой когда-то неизмеримой, лежит теперь беспомощный и обессиленный. Он не сводит с меня красивых черных глаз и пробует сказать что-то, но слова не выговариваются.

Вынимаю из кармана бинт. Руки дрожат. Боюсь, что ничего не сделаю. Раскатанный бинт кладу лентой на окровавленный живот. Вспомнил про бархатный мешочек. Трясу им над глазами умирающего, гремя пуговицами.

Когда, не помня себя от радости, я возился то с бинтом, то с мешочком, Оврагов в это время слазил в карман к Черемисову.

— Что ты делаешь?—спрашиваю я.

— А тебе что—жаль?—покосился Оврагов.—Шарь сам, вали! Все равно умрет...

— К живому-то, эх, ты!..

— Давай, клади, будет няньчиться,—говорит Оврагов.—Родной, что ль? Здоров больно, не донесешь его, пусть лежит. Скоро, скоро будет готов.

— Спаситель ты мой, тащи!—вырывается из богатырской груди Черемисова.

А когда взялись,—я за ноги, а Оврагов за плечи,—он ничего не говорит, только зубами скрипит от боли. Измучив раненого, кое-как взвалили на носилки. Несем тяжелую ношу и часто отдыхаем.

— Давай бросим, тяжел уж больно,—говорит Оврагов уж не в первый раз.

Но я иду сзади и крепко держусь за немецкие носилки. Покачиваются круто поставленные огромные ноги Черемисова. Черные глаза с неутертыми слезами смотрят на меня и говорят умоляюще: «Неси, неси, поскорей, спаситель ты мой... Умираю!» И я несу дорогую тяжелую ношу дрожащими руками.

— Брошу, не понесу, неси один, коли тебе нужно,—опустив носилки, говорит Оврагов, вытирая вспотевшую голову.—Нешто такого быка дотащишь?

Вспомнил, что он просил у меня табаку.

— Понесем давай, немного до окопов осталось. Покурим, табак там у меня есть,—соврал я.

Упросил. Несем. Три ночи пролежал человек на замороженной земле. Вынес, не сдала неизмеримая сила.

Неужели не донесем до далекого русского околотка?

Руки дрожат от тяжелой ноши. Падает и тает узорчатый снежок на бледном лице гвардейца Черемисова, на кровавом животе, простреленном пулями, и на широкую черную бороду красиво ложится легкий снежок.

Когда остановились у перевязочного пункта, Черемисов крепко схватил своей холодной рукой мою горячую руку и указал на карман. Я вытащил маленькую книжечкой согнутую картонку; в ней нашел

трешницу, пропитанную кровью. Черемисов, не спуская глаз, смотрел на меня, пока я клал трешницу с картонкой в бархатный мешочек. Хочу положить его в грудной карман шинели Черемисова. Он оттолкнул мою руку и сказал посиневшими губами:

— Возьми себе...

Защипало сердце, подступили непрошенные слезы: вижу, умирает человек. Руки его задрожали в предсмертных судорогах, ловя кого-то в воздухе...

— Гуляй... Ура... Марфа... убили... Петька... Урра-а-а...—произносит он предсмертные слова.

Выпрямились богатырские колени, зевнул, скрипнув белыми зубами. А когда из околотка пришел бритый санитар с красным крестом на рукаве, с ватой и марлей, падал, но не таял узорчатый снежок на бледном лице Черемисова!

А немецкие окопы, уставленные пулеметами и проволокой в три ряда, все так же стоят страшные, недоступные...

Измученные, непонимающие глаза смотрят в сизую даль, пахнущую кровью и порохом. Холодная рука шевелит в кармане бархатный мешочек с окровавленной трешницей. Жуткая память недавнего боя.

Да еще бьется сердце неровными толчками, и жить еще хочется.

На четвереньках вполз я в землянку с низким бревенчатым потолком. В углу лежит пара грязного белья и пружинное сидение с растрепанным волосом. Лежа, жую холодный кусок сальной говядины. Мимо идут, разговаривая, два санитара с носилками.

— В Петрограде, говорят, заварушка началась какая-то... Царя другого хотят сажать забастовщики...

Прошли. А слова оставили. Вспомнился мне Дроздов в очках, с колкими глазами. Его книжка и сейчас

в моей сумке, в материнском полотенце завернута. А в ней сказано на странице двенадцатой: «Без царя и бога жить лучше будет народ».

— Ты здесь?—спросил тот самый Оврагов, с которым мы несли Черемисова, опустившись у входа на корточки.

— А что тебе?

— Да так, ты ничего не слыхал?

— Нет, а что?

— Обозники на станции слышали: в Петрограде забастовку царю объявили кадровые солдаты. Их на фронт хотели отправить, а им неохота. Так и надо! Пополнения не будут присылать, и война прикончится. А у тебя что за книжка такая?

— Так, пустяковая, в доме разбитом нашел.

— Ты мотри, не скажи, все равно не жилец тогда ты! Понял?—и погрозившись револьвером, отошел от меня.

Далеко в стороне изредка летят немецкие снаряды, напевая смертельные песенки. Вдоль окопа идут русские солдаты с новыми разговорами.

— В Петрограде солдаты объявили царю революцию!..

— Воевать не станем и мы!.. Три года посидели в окопах, вшей покормили, да будет!

Я на четвереньках вылез из землянки. В окопах ожил и затолпился уцелевший от боя народ. Недалеко от меня стоит большой, коренастый, с желтой щетиной солдат.

Он долго блуждал глазами по опустевшим окопам, как будто ища виновника последнего неудачного боя, стоившего жизни тысячам людей, а потом, вскинув буквой «Ф» к ушам руки, как-то неестественно страшно выкатил голубые глаза с налившимися

кровью белками и, опрокинув голову кверху, сильно рявкнул, заглушив говор в окопах:

— Довольно!.. Довольно!.. По домам!!..

Я долго стоял в окопе, опустив обросший подбородок на голую, до крови изодранную грудь. Потом, как бы опомнившись, взглянул кверху на висевшую низко над землей кроваво-красную луну...

«Да... Революция!..—подумал я.—Неужели это мир?»

Цена 1 р. 35 к.

